This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

15

891.71
M638pc

A 471022 DUPL

2

15
375

DET
No 45

3825

ARTES VERITAS SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

# ОЧЕРКЪ

## ИСТОРІИ

# РУССКОЙ ПОЭЗІИ

Milyukov, Aleksandr Petrovich

# ОЧЕРКЪ

# ИСТОРІИ

# РУССКОЙ ПОЭЗІИ

---

А. МИЛЮКОВА

---

С. ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФІИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ

1847

891.71
M638pc

Печатать позволяется

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ, 16 Апрѣля, 1847.

Цензоръ А. Никитенко.

Stacks
Tyeh
Salt-Sach St Pub Lib
9-27-74
1045238-293

# ВВЕДЕНІЕ.

Лермонтовъ сравнилъ судьбу Россіи съ судьбою одного изъ героевъ нашихъ старинныхъ сказокъ, который тридцать лѣтъ *сидѣлъ сидѣнемъ*, и вдругъ, по могучему слову колдуна, очнулся и изумилъ всѣхъ своими подвигами. Въ этихъ словахъ—исторія Россіи и русской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое древняя Русь и что̀ такое новая Россія? Одна — еще грубая, отдѣленная отъ образованнаго міра китайскою стѣною своихъ нравовъ и предразсудковъ, полная упорнаго презрѣнія ко всему иноземному; другая — юная, могучая, съ жаждою къ просвѣщенію и горячимъ сочувствіемъ къ идеямъ обще-человѣческимъ. Колоссальный образъ Петра стоитъ на рубежѣ двухъ міровъ и, подобно гиганту родосскому, соединяетъ ихъ, опираясь одной стопою на пустынный, темный берегъ прошедшаго, другою на новый, свѣтлый міръ будущаго.

Поэзія, какъ вѣрная картина народной жизни, дагерротипный снимокъ его духовной дѣятельности, нравовъ и обычаевъ, должна бы-

ла проявить въ себѣ характеръ этихъ двухъ противоположныхъ міровъ,—и въ ней, дѣйствительно, какъ въ зеркалѣ, отразились тотъ и другой. Разсматривая древнюю нашу поэзію, видимъ слѣды неподвижно-однообразныхъ понятій, продолжительнаго сна, лишоннаго даже видѣній; обозрѣвая новую поэзію, находимъ произведенія, свидѣтельствующія о быстромъ пробужденіи духовной жизни, согрѣтыя благороднымъ чувствомъ, запечатлѣнныя свѣтлыми идеями. Въ одной—едва примѣтное проявленіе духа, огрубѣлаго отъ продолжительнаго бездѣйствія; въ другой — быстрый полетъ ума и фантазіи, воспрянувшихъ отъ вѣковой дремоты и озаренныхъ животворнымъ лучомъ европейскаго образованія. Такимъ образомъ, исторія нашей поэзіи, какъ и исторія политической жизни, представляя двѣ совершенно отдѣльныя картины, распадается на двѣ части: на древнюю поэзію — до временъ Петра Великаго, и новую — съ эпохи преобразованія Россіи.

Что же было причиною бѣдности и продолжительнаго застоя нашей древней поэзіи и быстрыхъ успѣховъ новѣйшей?

Поэзія европейскихъ народовъ возникла изъ двухъ началъ: она или родилась отъ знакомства съ литературою древнихъ, или проистекла изъ самой народной жизни. Которое же

изъ этихъ двухъ началъ могло служить источникомъ поэзіи для древней Руси? Ни то, ни другое!—Войдя въ концѣ X вѣка въ тѣсную связь съ Константинополемъ, Русскіе, по видимому, должны были бы скорѣе другихъ Европейцевъ познакомиться съ поэзіею греческою, и черпать идеи прямо изъ этого обильнаго источника, тогда-какъ западные народы изучали древній міръ изъ литературы латинской, которая сама была прививною вѣткою, занесенною въ Римъ вмѣстѣ съ другими трофеями. Но вышло иначе. Связи съ Греціею и знакомство съ греческимъ языкомъ нисколько не послужили къ усвоенію поэзіи древней Эллады, и еще удалили всякую возможность къ сближенію съ ней. Хотя у насъ и знали о существованіи Гомера [1], но поэзія древнихъ, какъ памятникъ язычества, считалась *еретическимъ, нечестивымъ*, нисколько ничтожнымъ и безполезнымъ, но даже опаснымъ и вреднымъ. Свѣтская поэзія казалась грѣховною, ее преслѣдовали и гнали какъ язву. Знакомство съ литературою латинскою было еще невозможнѣе: ненависть къ католицизму налагала на латинскій языкъ печать отверженія. Оставалось русской поэзіи развиваться изъ собственныхъ началъ жизни. Но могло ли быть значительнымъ это развитіе?... Удѣльная система, необходимая для сплоченія въ одно цѣ-

лое разнороднымъ элементовъ нашего государства, въ то же время была пагубна, лишивъ его послѣдняго участія въ судьбахъ человѣчества и заключивъ всю жизнь его въ тѣсныхъ предѣлахъ внутреннихъ смутъ и разбоевъ. Отчужденная отъ образованнаго міра, Россія вскорѣ назначена была провидѣніемъ въ число очистительныхъ жертвъ для спасенія Европы отъ нашествія варваровъ и Корана, и, отдѣленная отъ нея нравами и религіею, она не слыхала ни одного слова утѣшенія. Правда, на сѣверѣ былъ уголокъ, гдѣ проявлялось что-то подобное народной жизни. Почти незнакомый съ татарскимъ игомъ и удѣльными смутами, Новгородъ одинъ былъ въ связи съ Европою; но къ несчастію духъ торгашества препятствовалъ и тамъ полному развитію поэзіи. Впрочемъ, есть причины думать, что лучшія изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ принадлежатъ Новгороду. Могла ли, при такихъ обстоятельствахъ, возникнуть у насъ поэзія изъ самой жизни, когда эта жизнь, поражонная еще въ самомъ началѣ, принуждена была столько вѣковъ таиться подъ ледяной корою, не согрѣваемая образованіемъ, мертвая и неподвижная?

Такимъ образомъ, особенный способъ воззрѣнія на литературу греческую мѣшалъ намъ познакомиться съ древними; а несчастныя об-

стоятельства, въ которыя Россія поставлена была сближеніемъ съ Греціею, удѣльною системою и монгольскимъ порабощеніемъ, подавили въ ней самобытное развитіе народнаго духа. Погруженная въ продолжительный сонъ, русская жизнь не могла проснуться безъ сильнаго потрясенія. Ни призывъ иностранцевъ при Іоаннѣ III, ни просвѣщонныя идеи Годунова, ни сближеніе съ Польшею въ началѣ XVII вѣка, ни кіевская и московская Академіи,—не въ состояніи были потрясти народный духъ и пробудить умственную дѣятельность. Нужны были геніяльный умъ, могучая рука и желѣзная воля, чтобы расшевелить спавшаго богатыря и заставить его сознать свои силы. Явился Петръ. Быстро потрясъ онъ народъ свой, вывелъ изъ темницы, гдѣ столько вѣковъ погрязалъ онъ въ бездѣйствіи, — и Россія твердыми, исполинскими шагами пошла по пути къ образованію и славѣ. Начало этой новой жизни, полной духовною дѣятельностію, было и началомъ новой поэзіи. Разумѣется, эта поэзія, какъ и самая жизнь, не могла получить характера самобытнаго, а заключилась въ одномъ усвоеніи чужихъ идей и формъ, въ одномъ безпрерывномъ пріобрѣтеніи того, что было утрачено во время продолжительнаго застоя.

Ясно, что характеръ древней нашей поэзіи

не могъ имѣть ничего общаго съ характеромъ новой, потому-что одна выражала постоянный застой неподвижныхъ идей, а другая безпрерывный прогрессъ быстраго развитія. До Петра Великаго все безжизненно: литературные памятники XVII вѣка нетолько не превосходятъ древнѣйшія произведенія поэзіи, но во многомъ уступаютъ имъ. Напротивъ со временъ Петра все кипитъ жизнію: идеи Кантемира нисколько не сходны съ идеями Симеона Полоцкаго, Державинъ, кажется, цѣлымъ вѣкомъ отдѣленъ отъ эпохи Ломоносова, а поэзія Пушкина шагнула неизмѣримо-далеко отъ поэзіи Державина. Не значитъ ли это, что вѣковая неподвижность древней Руси составляетъ совершенно отдѣльную картину отъ кипучей, безпримѣрной дѣятельности новой Россіи? Исторія древней нашей поэзіи показываетъ, что русскій человѣкъ восемь вѣковъ находился въ неподвижномъ положеніи куколки, и можетъ-быть долго еще остался бы неподвижнымъ, если бы не повѣяло на него теплое дыханіе европейскаго образованія; изъ новой поэзіи видимъ, что тѣсная кокона распалась, мотылекъ отростилъ крылья и готовъ порхнуть въ тотъ очаровательный міръ, гдѣ живутъ и наслаждаются его собраты, ранѣе освѣщонные и согрѣтые божественнымъ лучомъ образованія.

---

# ДРЕВНЯЯ РУССКАЯ ПОЭЗІЯ.

## I.

## ИСТОРИЧЕСКІЯ СКАЗАНІЯ НЕСТОРА.

Несмотря на мнѣніе славянофиловъ, которые стараются доказать, что Русское государство возникло совсѣмъ не подъ вліяніемъ Норманновъ, нельзя, однакожъ, не видѣть въ первыхъ временахъ нашей исторіи, въ теченіи IX и X вѣковъ, характера чисто-скандинавскаго. Весь языческій періодъ, какъ изображаетъ его первый нашъ лѣтописецъ, носитъ самый яркій отпечатокъ вліянія сѣверныхъ героевъ. Основаніе государства на берегахъ Волхова,

связаннаго естественнымъ воднымъ сообщеніемъ съ Балтійскимъ моремъ, постоянное стремленіе первыхъ князей на югъ, перенесеніе столицы сперва въ Кіевъ, потомъ въ Переяславецъ-на-Дунаѣ, безпрерывные морскіе походы къ Константинополю,—свидѣтельствуютъ, какое направленіе имѣла въ этомъ краю жизненная дѣятельность. Не входя въ этимологическіе споры, не лучше ли обратить вниманіе на самый характеръ тогдашней жизни. Кто, кромѣ скандинавскихъ смѣльчаковъ, былъ въ то время въ состояніи предпринимать походы на лодкахъ къ столицѣ Греческой имперіи? Кто могъ отважиться на такое предпріятіе, кромѣ Норманновъ, которые, наводнивъ своими воинственными толпами западные берега Европы, естественно должны были попытаться открыть новый путь, чрезъ земли славянскія, къ тому городу, который славился баснословными богатствами и составлялъ постоянную цѣль грабительскихъ набѣговъ? Поселеніе Варяговъ въ Новгородѣ и Кіевѣ не могло ли быть однимъ только становищемъ для открытія постояннаго сообщенія, черезъ славянскія земли, съ Чорнымъ моремъ, до тѣхъ поръ какъ долговременное пребываніе въ степной сторонѣ и греческій огонь, отучивъ пришельцевъ отъ моря, заставили смотрѣть на Русь какъ на отечество; а принятіе христіянской вѣ-

ры, связавъ ихъ братскими узами съ Царьградомъ, вовсе погасило страсть къ его завоеванію.

Сличеніе древнѣйшихъ памятниковъ нашей литературы съ памятниками поэзіи скандинавской еще болѣе показываетъ, что языческій періодъ нашей исторіи носитъ на себѣ печать норманнскаго вліянія. Одинъ и тотъ же духъ отваги и геройства служитъ основою подвиговъ витязей, описываемыхъ Несторомъ и исландскими лѣтописцами. Въ древнѣйшихъ памятникахъ нашей литературы есть мѣста, разительно-сходныя съ извѣстіями сѣверныхъ лѣтописцевъ и поэтовъ. Сказаніе Нестора о смерти Олега и разсказъ одной исландской саги о кончинѣ конунга Орварда-Одда, повѣсть о сожженіи древлянскихъ пословъ въ банѣ по приказанію Ольги, и преданіе о подобномъ же поступкѣ одной норвежской королевы, — безъ сомнѣнія возникли изъ одного источника. Эймундова сага и княженіе Ярослава въ несторовой лѣтописи—составляютъ одну и ту же историческую повѣсть.

Сказанія Нестора, относящіяся къ языческому періоду русской исторіи, разсматриваемыя съ литературной точки зрѣнія, представляютъ собраніе историческихъ повѣстей и поэтическихъ легендъ [2]. Конечно, русскій монахъ XI столѣтія, напитанный чтеніемъ византійскихъ писателей, не могъ передать вполн-

въ преданій народа языческаго, порожденныхъ вѣковою дѣятельною жизнію героевъ скандинавскихъ. Онъ не могъ понимать поэтической стороны ихъ подвиговъ; и смотрѣлъ на нихъ какъ сухой лѣтописецъ и ревностный противникъ язычества. Но несмотря на презрѣніе Нестора къ древнему, до-христіанскому міру, несмотря на безжизненность и надутость разсказа, въ лѣтописи его встрѣчаются мѣста, которыя неоспоримо свидѣтельствуютъ о существованіи древнѣйшей, хотя и грубой поэзіи, начинавшей возникать у насъ подъ вліяніемъ скандинавскаго міра. Рядъ сказаній Нестора, отъ призванія Рюрика до погибели Святополка, составляетъ какъ-будто отрывки изъ утраченной поэмы, и походитъ болѣе на литературный, чѣмъ на историческій памятникъ. Это дань, принесенная отъ монаха языческимъ преданіямъ, еще несовсѣмъ изгладившимся изъ памяти. Одинъ общій характеръ героизма и поэзіи отличаетъ всѣ эти повѣсти, въ которыхъ время обнимаетъ цѣлые полтора вѣка, а мѣсто дѣйствія простирается отъ Балтійскаго моря до цареградскаго Золотого Рога. Смерть Аскольда и Дира, походъ Олега къ Константинополю и чудная его кончина, мщеніе Ольги надъ Древлянами, битва при Овручѣ и смерть Ярополка, осада Кіева Печенѣгами и спасеніе его Претичемъ, неудач-

ная месть Рогнѣды и ея прощеніе, подвиги Святослава и исторія Святополка,—вотъ важнѣйшіе эпизоды этой древней поэмы. И какія лица являются въ ней: Олегъ, прибивающій къ воротамъ изумленной Византіи побѣдоносный щитъ свой, Ольга, принимающая въ стѣнахъ ея крещеніе, Рогнѣда, трепещущая при мысли быть женою *рабынича* и готовая на месть убійцѣ своего отца и братьевъ, и наконецъ Святославъ и Святополкъ!

*Жизнь Святослава*, составляетъ у Нестора занимательную и поэтическую повѣсть. Яркими чертами обрисовалъ онъ этого Ахилла нашей баснословной древности,—съ той минуты, когда, еще малолѣтнею, выѣзжаетъ онъ на конѣ передъ рядами русскаго войска, и слабою рукою бросаетъ копье въ непріятеля,—до той ужасной развязки, когда, обдѣланный въ золото, черепъ героя, падшаго въ бою съ многочисленными врагами, служитъ имъ чашею на пиршествахъ. Сколько поэзіи въ подвигахъ этого витязя, который всю жизнь проводилъ на ратномъ полѣ, *ходя аки пардусъ*, никогда не нападалъ на враговъ, не сказавъ имъ напередъ—*иду на васъ*,—который предпочиталъ простой мечъ всѣмъ дарамъ Цимисхія и, сражаясь съ многочисленными полчищами Грековъ, говорилъ своимъ воинамъ: *лягемъ костьми, мертвіи срама не имутъ!* Такое лицо до-

стойно было воспламенить поэта! И Несторъ, несмотря на свою ненависть къ языческимъ князьямъ, и въ особенности къ Святославу, который *не принималъ во уши* просьбъ матери о крещеніи, несмотря на обычную сухость изложенія и напыщенную дикость языка, — написалъ повѣсть, полную интереса и поэзіи.

Но еще любопытнѣе сказаніе о *Святополкѣ Окаянномъ*. Здѣсь представляется случай оцѣнить Нестора съ литературной точки зрѣнія. Жизнь и смерть Святополка составляютъ важнѣйшую часть *Эймундовой Саги*, собранной въ XIII вѣкѣ изъ древнихъ исландскихъ преданій, — и сравненіе этой саги съ сказаніемъ Нестора послужитъ доказательствомъ скандинавскаго источника нашей древней поэзіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, превосходства русскаго повѣствователя предъ исландскимъ.

Въ сагѣ разсказывается эта повѣсть такимъ образомъ. Конунгъ Бурислейфъ (такъ именуется въ сагѣ Святополкъ) потребовалъ отъ конунга Ярислейфа уступки нѣсколькихъ деревень и торжищъ, — и тотъ, не желая отдать ихъ, началъ съ нимъ войну. Непріятели встрѣтились, и Норманны, служившіе въ войскѣ Ярислейфа, зайдя въ тылъ враговъ, обратили ихъ въ бѣгство. Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ нерѣшительныхъ сраженій, предводитель Норманновъ, Эймундъ, проникаетъ въ станъ

Бурислейфа, переодѣтый нищимъ и, пробравшись въ палатку конунга, умерщвляетъ его.

Несторъ описываетъ эти событія иначе. Святополкъ, рѣшившись по смерти Владиміра овладѣть престоломъ и распространить свои владѣнія, посылаетъ умертвить братьевъ, — и трое изъ нихъ падаютъ подъ ножами убійцъ. Но судьба посылаетъ ему мстителя въ лицѣ четвертаго брата, Ярослава новгородскаго. Оба войска сходятся на берегахъ Днѣпра, и храбрость Новгородцевъ рѣшаетъ судьбу сраженія. Послѣ различныхъ перемѣнъ счастія, враги встрѣчаются на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ умерщвленъ одинъ изъ братьевъ Святополка. Ярославъ всходитъ на могилу и, принеся молитву къ небу о ниспосланіи мщенія на главу *Каина*, приказываетъ начать сраженіе. Битва открывается съ неслыханнымъ ожесточеніемъ, но когда ангелы небесные являются на помощь мстителю, Святополкъ обращается въ бѣгство. Наказаніе божіе преслѣдуетъ братоубійцу:

«Бѣжащу ему, нападе на нь бѣсъ, и разслабѣша кости его, не можаше сидѣти, и несяхуть и на носилѣхъ.»

Гонимый подобно Каину проклятіемъ, преслѣдуемый привидѣніями, Святополкъ бѣжитъ изъ одной страны въ другую и, не находя нигдѣ покоя, погибаетъ наконецъ въ отдаленной

пустынѣ. «Есть же—прибавляетъ лѣтописецъ—могила его въ пустыни и до сего дни, исходитъ же отъ нея смрадъ золъ.»

Изъ этого сравненія видно, что Несторъ, несмотря на односторонній взглядъ, несмотря на примѣсь, которою портитъ драму этого событія, превосходитъ разскащика исландскаго и мыслью, хотя недостаточно высказанною, и развитіемъ подробностей, полныхъ жизни и поэзіи. Какъ ничтоженъ Эймундъ въ сравненіи съ лицами, изображонными Несторомъ! Съ какою истиной и какъ поэтически представленъ этотъ Святополкъ, сынъ греческой черницы, какъ бы зачатый въ грѣхѣ и проклятый съ самой минуты беззаконнаго рожденія,—этотъ честолюбецъ, достигающій престола братоубійствомъ, наказанный братомъмстителемъ на самомъ мѣстѣ злодѣянія, преслѣдуемый привидѣніями и погибающій наконецъ въ пустынѣ! Не знаемъ, до какой степени эта повѣсть вѣрна исторіи, но смотря на нее какъ на литературное произведеніе, нельзя не замѣтить въ ней драматической истины и даже анализа въ подробностяхъ.

Въ этихъ сказаніяхъ Нестора видимъ тотъ героическій вѣкъ, когда слава и честь были извѣстны нашимъ предкамъ, когда князья ихъ, отправляясь на войну, посылали предувѣдомить о томъ непріятелей, когда, заключая до-

говоръ съ императорами, Русскіе повторяли, что, кто не сдержитъ обѣщанія, тотъ *да будетъ рабъ во весь вѣкъ*, считая это величайшею клятвою. Сквозь простодушный разсказъ монаха, нельзя не замѣтить, какъ много поэтическихъ началъ таилось въ этой жизни, не успѣвшей достигнуть зрѣлости и въ самомъ началѣ поражонной мертвящимъ оцѣпенѣніемъ. Какіе богатые плоды могла принести она, если бы не получила другого направленія, совершенно-чуждаго поэзіи и положившаго преграды ея развитію!

---

## II.

## СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВѢ
## и
## СКАЗАНІЕ О МАМАЕВОМЪ ПОБОИЩѢ.

---

Духъ, занесенный къ намъ Норманнами, нескоро могъ истребиться. Хотя вмѣсто щита олегова на стѣнахъ Царьграда и славныхъ войнъ Святослава съ Греками, явились мелкіе споры, жалкія интриги и ничтожные

подвиги буйнаго удальства, — однако сѣмена, брошенныя Норманнами въ русское общество, не могли скоро исчезнуть. Такъ поле, засѣянное однажды хлѣбомъ, даетъ, послѣ новой перепашки подъ другія растенія, нѣсколько колосьевъ отъ сѣмянъ, уцѣлѣвшихъ въ почвѣ. Народъ долго не могъ забыть тѣхъ подвиговъ, которые совершалъ онъ при своихъ воинственныхъ князьяхъ; еще въ ушахъ его—говоря словами древняго поэта—*звенѣла прадѣдняя слава*. Это доказываетъ Несторъ, у котораго даже въ сухой лѣтописи встрѣчаются мѣста поэтическія.

Но еще лучшимъ свидѣтельствомъ тому служитъ древнее стихотвореніе, извѣстное подъ названіемъ *Слова о Полку Игоревѣ*, написанное, какъ полагаютъ, въ концѣ XII столѣтія. Это стихотвореніе, исполненное красотъ, проникнутое благороднымъ героизмомъ, хотя не можетъ стать на ряду съ историческими сказаніями Нестора, по своему бѣдному содержанію и отсутствію характеровъ, подобныхъ Святославу или Святополку, — но по чисто-поэтической формѣ, мастерскому разсказу и прекрасному, одушевленному языку, составляетъ самый замѣчательный поэтическій памятникъ древней Руси. Разумѣется, здѣсь не можетъ быть никакого сравненія съ произведеніями классическихъ литера-

туръ; несмотря на то, Слово о Полку Игоревѣ блистаетъ единственнымъ перломъ въ исторіи нашей древней поэзіи. Можетъ-быть существовали и другія современныя ему сочиненія, но они не дошли до насъ, а уцѣлѣвшіе памятники послѣдующихъ вѣковъ показываютъ, что поэзія постепенно приходила въ упадокъ. Тогда начали появляться повѣсти: *О нашествіи злочестиваго царя Батыя на Русскую землю*, *О князѣ Александрѣ Ярославичѣ*, *О убіеніи князя Михаила тверского въ ордѣ отъ царя Озбяка*. Эти историческія сказанія обнаруживаютъ совершенное ослабленіе народнаго духа и поэзіи, въ-слѣдствіе измѣненія общественной жизни и понятій въ тѣ бѣдственныя времена, когда *сѣялись и ковались крамолы и росли усобицы*. Наконецъ въ исходѣ XIV вѣка появилось *Сказаніе о Мамаевомъ Побоищѣ*. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ этого сочиненія видно, что авторъ его зналъ Слово о Полку Игоревѣ и часто подражалъ ему. Это подаетъ поводъ разобрать оба произведенія вмѣстѣ и, изъ сравненія ихъ, показать измѣненіе народной жизни и поэзіи въ теченіи двухъ вѣковъ, раздѣляющихъ обоихъ писателей. Это сравненіе тѣмъ болѣе удобно, что содержаніе обоихъ сочиненій одно и то же, — походъ на Донъ противъ Половцевъ и Татаръ.

Содержаніе *Слова о Полку Игоревѣ* составляетъ походъ князей Игоря новгородъ-сѣверскаго и Всеволода курскаго на Половцевъ въ 1185 году. Желая обуздать дерзость варваровъ, опустошавшихъ Россію, юные князья *вступаютъ въ злато стремя* и идутъ *преломить копье за Русскую землю*. Ихъ воины полны мужества и отваги; они идутъ, *ищучи себѣ чести, а князю славы*. Приблизясь къ Дону, Русскіе встрѣчаютъ непріятелей и, *потопташа поганыя плъкы половецкыя*, пускаются далѣе съ богатою добычею. Но Половцы, узнавъ о походѣ смѣлыхъ князей, стекаются *отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ*. Начинается новая битва на берегу Каялы. *Яръ-туръ* Всеволодъ оказываетъ чудеса храбрости: гдѣ только ни является онъ, *своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая*, тамъ *лежатъ поганыя головы половецкыя*. Три дня продолжается сраженіе, но многолюдство враговъ превозмогаетъ, и братья-герои попадаются въ плѣнъ. Пѣвецъ обращается къ сильнѣйшимъ изъ современныхъ князей, напоминаетъ имъ о славѣ предковъ, умоляетъ забыть крамолы, вооружиться общими силами и отмстить

За землю Русскую,
За раны Игоревы, буего Святъславлича.

Наконецъ удалой Игорь успѣваетъ убѣжать

изъ плѣна и преодолѣваетъ всѣ трудности въ степяхъ, *поскоча горностаемъ къ тростію, и бѣлымъ гоголемъ на воду, полетѣ соколомъ подъ мглами*. Онъ достигаетъ благополучно *отня злата стола*, и вся Русь торжествуетъ ликованіемъ и пѣснями спасеніе того, кто сражался за ея спокойствіе. Пѣсня оканчивается хвалою князьямъ и ихъ вѣрной дружинѣ.

Содержаніе *Сказанія о Мамаевомъ Побоищѣ* во многомъ сходно съ Словомъ о Полку Игоревѣ. Безбожный царь Мамай, *попущеніемъ божіимъ, отъ наученія діаволя*, идетъ съ многочисленнымъ войскомъ *казнити улусъ свой*, Россію, и *присяжника своего*, князя московскаго. Димитрій Іоанновичъ, получа извѣстіе объ этомъ грозномъ походѣ, отправляется къ митрополиту Кипріану за совѣтомъ:

«Вѣси ли, отче-господине, — говоритъ онъ преосвященному — настоящую бѣду на насъ, яко царь Мамай идетъ на насъ въ неукротимѣ образѣ и ярости?» — Преосвященный же митрополитъ Кипріанъ рече великому князю Димитрію: «Повѣждь ми, господине, чѣмъ еси не исправился къ нему?» — Князь же великій Димитрій Ивановичъ рече: «Исправилъ бо ся, отче, всѣмъ до велика къ нему, по уставу отецъ своихъ, но еще и болѣ того воздахъ ему.» Преосвященный же митрополитъ рече великому князю: «Видиши ли, господине, попущеніемъ божіимъ, нашихъ ради грѣховъ, идетъ плѣняти въ Русскую землю. Но вамъ подобаетъ, русскимъ княземъ, тѣхъ утолити ради крестьянскаго роду четверицею сугубою, дабы не разрушилъ христовы вѣры. Аще ли не смирится, то Господь гордымъ противится, писано есть, а

смиреннымъ благодать даетъ. Нынѣ же возьми, господине, злата, колико имаеши, и пошли къ нему, исправися ему.»

Облегчивъ душу этой *святой бесѣдою*, Димитрій отправляетъ, по совѣту святителя, богатые дары для умилостивленія Мамая; но узнавъ, что ханъ не думаетъ отступать, онъ созываетъ князей и даетъ обѣтъ *за вѣру христіанскую умерети*. Получивъ благословеніе и двухъ воиновъ-монаховъ отъ св. Сергія, обойдя всѣ соборы, припавъ съ молитвою слезною къ чудотворнымъ иконамъ, поклонившись ракамъ угодниковъ и гробамъ прародителей, великій князь выступаетъ въ походъ. Воины русскіе, принявъ благословеніе духовенства, идутъ *сложить головы за вѣру христіанскую и за обиду государя*. Князья переправляютъ войско за Донъ, чтобъ отнять возможность къ отступленію, и Русскіе вступаютъ на Куликово-поле. Въ ночь, предшествующую битвѣ, Димитрій объѣзжаетъ съ литовскимъ воеводою Волынцемъ свой станъ,— и Волынецъ предсказываетъ ему побѣду. Настаетъ день битвы. При восходѣ солнца великій князь, принеся теплую молитву ко Господу и вкусивъ присланной ему отъ св. Сергія просвиры, приказываетъ начать сраженіе. Оба войска сходятся, и начинается битва, описаніе которой взято совершенно изъ Слова о Полку Игоревѣ. Наконецъ участь сраженія рѣ-

шается святою помощію угодниковъ Бориса и Глѣба, поразившихъ Татаръ *объ-онъ страну рѣки Непрядвы, идѣже не быша русскіе полки*. Мамай обращается въ бѣгство,—и авторъ заключаетъ сказаніе хвалою Богу за столь блестящую побѣду, дарованную Русскимъ.

Сравнивая эти два сочиненія, нельзя не замѣтить съ перваго взгляда большого сходства въ содержаніи, которое произошло какъ отъ сходства самыхъ событій, такъ и отъ видимаго подражанія. Въ томъ и другомъ сочиненіи описывается битва Русскихъ съ врагами отечества. Но если мы вспомнимъ, что походъ Игоря на Половцевъ совсѣмъ не имѣлъ для Россіи такого значенія, какъ походъ Димитрія, что тамъ дѣло шло только объ удачномъ наѣздѣ на землю Половцевъ въ отмщеніе за ихъ набѣги, а здѣсь о судьбѣ цѣлой Россіи, о ея политическомъ существованіи и народной независимости; то нельзя не видѣть, что содержаніе Сказанія о Мамаевомъ Побоищѣ имѣетъ несравненно болѣе значенія и интереса, нежели содержаніе Слова о Полку Игоревѣ. Битва куликовская, какъ первая попытка сорвать тяжкія цѣпи рабства, была величайшимъ событіемъ нашей древней исторіи и могла служить предметомъ для поэтическихъ созданій. Но что̀ сдѣлалъ изъ нея авторъ сказанія? По духу, которымъ проникнуты оба сочиненія, тотчасъ

можно видѣть все превосходство Слова о Полку Игоревѣ и всю ничтожность Сказанія о Мамаевомъ Побоищѣ. Первая повѣсть есть чисто-поэтическое произведеніе, вторая—слабое подражаніе ей, которое то сбивается на сухой разсказъ лѣтописи, то напоминаетъ духовныя поученія. Какая разница въ характерѣ того и другого сочиненія! Несмотря на то, что въ Словѣ о Полку Игоревѣ описывается пораженіе и плѣнъ Русскихъ, а въ Сказаніи о Мамаевомъ Побоищѣ побѣда и торжество ихъ, въ первомъ мы видимъ героевъ, которыхъ *сердца въ жестоцѣмъ харалугѣ скована, а въ буести закалена*, которымъ легко *Волгу веслами раскропити, а Донъ шеломами выльяти*,—а во второмъ находимъ унылую нерѣшительность людей, продолжительнымъ рабствомъ пріучонныхъ къ унизительному терпѣнію. Изъ перваго сочиненія мы заключаемъ, что Русскимъ XII вѣка знакома была слава и честь, что они помнили еще геройскія дѣла своихъ предковъ и вѣкъ *стараго Владиміра*,—а въ другомъ замѣчаемъ пагубное вліяніе событій, протекшихъ между тѣмъ и другимъ временемъ. Какая разница въ рѣчахъ Игоря и Димитрія! Одинъ зоветъ своихъ воиновъ *позрити синяго Дону* и говоритъ, что *луцежъ потяту быти, неже полонену быти*; другой приступаетъ къ великому подвигу съ нерѣшительностію человѣка, не увѣреннаго въ

своихъ силахъ и важности дѣла; одинъ идетъ на войну за родину, какъ на пиръ, другой страшится ея и называетъ *злою вещію*.

Сличеніе сходныхъ мѣстъ въ обоихъ сочиненіяхъ показываетъ вмѣстѣ и упадокъ поэзіи въ XIV вѣкѣ, и неумѣстность подражанія героической пѣснѣ въ то время, когда народъ былъ совершенно чуждъ тѣхъ понятій, которыя одушевляли современниковъ Игоря. Пѣвецъ Слова о Полку Игоревѣ, описывая воиновъ *Буй-тура* Всеволода, говоритъ:

Куряни свѣдоми къ мети, подъ трубами повити,
Подъ шеломы взлелѣяны, конецъ копія въскормлени,
Пути имъ вѣдоми, яруги имъ знаеми, луци
У нихъ напражени, тули отворени, сабли изъострени.
Сами скачутъ акы сѣрыи вълцы въ полѣ,
Ищучи себѣ чти, а князю славѣ.

Авторъ Сказанія о Мамаевомъ Побоищѣ, подражая этому, описываетъ точно также ратниковъ Димитрія:

«Русскіе удальцы свѣдоми, имѣютъ подъ собою борзы кони, а доспѣхи имѣютъ вельми тверды, злаченые колантыри, и булатныя байданы, и колчары фряжскія, корды латцкіе, сулицы нѣмецкія, щиты червленные, копья злаченыя, сабли булатныя; а дорога имъ вельми свѣдома, березі имъ по Оцѣ изготовлены,—хотятъ головы своя сложити за вѣру христіанскую и за твою обиду, государя великаго князя.»

Какъ естественно и сильно изображеніе витязей, образовавшихся въ бурномъ періодѣ воинственныхъ временъ и не забывшихъ славы

предковъ, — такъ слабо и изысканно описаніе людей, которые отвыкли отъ битвъ и возросли подъ бичами поработителей.

Еще разительнѣе выказываетъ достоинство того и другого сочиненія сличеніе плача Ярославны, супруги Игоря, когда она получаетъ извѣстіе о плѣнѣ мужа, и плача Евдокіи, когда Димитрій только-что отправляется въ походъ. Въ первомъ видимъ нѣжную пѣсню супруги героя, проливающей слезы о несчастіи своего *лады* и храброй его дружины, побѣжденной многочисленнымъ непріятелемъ; во второмъ—грустную молитву бѣдной женщины, не увѣренной въ своемъ мужѣ и его воинахъ. Ярославна сама хочетъ летѣть ласточкою на поле битвы и омыть раны милаго; Евдокія только молитъ Бога о счастливомъ возвращеніи отца своихъ дѣтей, говоря—*ни на кого надежды не имамъ, токмо на тебя, всевидящаго Бога.*

Не должно думать, будто разница между духомъ и поэзіею обоихъ сочиненій произошла отъ того, что неизвѣстный пѣвецъ Игоря былъ, повидимому, лицо свѣтское, а авторъ мамаева побоища, какъ полагаютъ, рязанскій священникъ Софроній. Несторъ былъ монахъ, однако это не помѣшало ему изобразить Святославовъ, Святополковъ и Рогнѣдъ въ поэтическихъ чертахъ, между-тѣмъ какъ онъ былъ простымъ лѣтописцемъ и никогда не думалъ

о поэзіи; напротивъ авторъ повѣсти о куликовской битвѣ явно подражалъ Слову о Полку Игоревѣ и всячески старался представить походъ Димитрія въ возможно-лучшихъ и яркихъ краскахъ. Причина тому очевидна: если въ общественной жизни есть начала, благопріятныя поэзіи, то они невольно пробиваются живымъ ключомъ сквозь самыя сухія произведенія писателя; когда же нѣтъ этихъ началъ, когда общество холодно и мертво, когда ему чужды высокія стремленія, то всѣ усилія извлечь изъ его жизни что-нибудь поэтическое остаются напрасными и не приносятъ никакого плода. Такъ пчела не добудетъ ни одной капли меду изъ засохшихъ растеній.

---

## III.

## НАРОДНЫЯ ПѢСНИ И СКАЗКИ.

---

У всѣхъ народовъ, кромѣ поэзіи письменной, возникающей при извѣстной уже степени об-

разованія и гражданственности, существуетъ другая поэзія,—народная, служащая источникомъ первой. Такъ у Грековъ письменной поэзіи предшествовали пѣсни (*σκόλια*), которыя или услаждали сельскіе труды, или сопровождали игры и увеселенія, или составляли забаву въ бесѣдахъ. Такъ въ Европѣ рыцарскіе романсы распѣвались въ Испаніи до Кальдерона, англійскія и шотландскія баллады вдохновляли Шекспира и Вальтеръ-Скотта, изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ Германцевъ возникли геніяльныя созданія Шиллера и Гете. Въ народной поэзіи скрываются многія причины явленій поэзіи письменной, а потому она заслуживаетъ величайшаго вниманія, какъ бы ни была груба и безплодна.

Немного народовъ, у которыхъ первобытная поэзія была бы такъ богата множествомъ памятниковъ, и съ такой полнотою выражала всю жизнь, какъ у насъ, Русскихъ. Въ ней, какъ въ самомъ чистомъ зеркалѣ, отразилась вся жизнь Русскаго народа до временъ Петра Великаго; въ ней всего лучше мы видимъ нашу старую народность, и то, чего могли ожидать отъ нея безъ коренной реформы.

Въ русскихъ пѣсняхъ и сказкахъ вы видите всю обширную и суровую сторону, которая досталась намъ въ удѣлъ, съ ея широкими полями, покрытыми *травою шелковою и цвѣтами*

*лазоревыми*, съ ея дремучими лѣсами, колеблющимися отъ буйнаго вѣтра, съ ея сыпучими снѣгами, надъ которыми виднѣется только чорная ель, да бѣлая береза; гдѣ весной поетъ *жаворонокъ на проталинкѣ*, лѣтомъ краснѣетъ *калина-малина* и летаютъ *ясный соколъ*, *сизый голубь*, *да лебедь бѣлая*, а зимою все занесено снѣгомъ, и мертвая, печальная тишина прерывается только крикомъ ворона, да свистомъ мятели. Въ этихъ пѣсняхъ и сказкахъ вы находите всю Русь: тутъ и свѣтлый Дунай, и тихій Донъ, и *кормилица* Волга, и *государь* Великій Новгородъ, и *каменна* Москва; тутъ и разгульная жизнь волжскихъ разбойниковъ, и удалые наѣзды храбрыхъ казаковъ. Историческія событія также наложили яркое клеймо на нашу народную поэзію: въ ней встрѣчаете всѣхъ, кого привыкъ любить и ненавидѣть Русскій народъ,—и Владиміра, и Ермака, и царя Іоанна Грознаго, и хана Узбека, и Гришку Отрепьева. Словомъ, въ нашихъ пѣсняхъ и сказкахъ вся до-петровская Русь, съ ея ростомъ и дородствомъ, съ ея нравами и обычаями, съ ея вѣрой и повѣрьями, съ ея грустью и разгуломъ,—Русь не напудренная, не нарумяненная схоластикою, но какъ мать родила, съ своимъ удальствомъ и грубостью, съ своей рѣчью и ухватками.

Какой же характеръ нашей народной поэзіи?

Разумѣется, онъ долженъ отличаться тѣми самыми чертами, которыми отличалась и старая жизнь, потрясенная реформою Петра. Посмотримъ же на это золотое le bon vieux temps, о которомъ вздыхаютъ наши старовѣры.

Народная жизнь, получившая у насъ такое блистательное начало при норманнскихъ князьяхъ, поражена была вскорѣ въ самомъ источникѣ. Русскіе не только лишились средствъ къ развитію политической жизни, но отравили и жизнь домашнюю. Теремъ, заимствованный у византійскихъ Грековъ (τέρεμνον), поработилъ русскую женщину деспотической власти мужчины,— и та женщина, которая отъ скандинавскаго вліянія могла ожидать блистательной судьбы, знакомясь съ нравами сѣверныхъ героинь, была лишена всякаго общественнаго значенія и осуждена на вѣчное затворничество. Удаленіе отъ Европы препятствовало намъ усвоить рыцарскія идеи, возродившія глубокое уваженіе къ женщинѣ, которое служило основнымъ камнемъ европейскаго общества. Теремъ, сдѣлавшись темницею женщины, лишилъ общество того благотворнаго вліянія прекраснаго пола, которое бываетъ душою нравственнаго воспитанія народа. Сближеніе съ восточными идеями при могольскомъ нашествіи и распространеніе азіятской мысли о погибели міра отъ женщины—еще болѣе утвер-

дило ея затворничество. Мы не встрѣчаемъ уже въ исторіи лицъ подобныхъ Ольгѣ или Рогнѣдѣ, — а если иногда и являлись женщины съ вліяніемъ на общество, какъ напримѣръ Елена Глинская или Марина Мнишекъ, то это были не русскія. Такимъ образомъ, теремъ нанесъ глубокую рану народной жизни, отдѣливъ отъ общества женщину и сдѣлавъ ее рабою. Посмотрите на русскую красную дѣвицу! Сидя одиноко *въ серебряной клѣточкѣ, за золотою сѣточкой*, она проводила однообразную жизнь, какъ птичка, лишонная свободнаго воздуха общественной жизни, чуждая всякаго образованія. Теремъ былъ недоступнымъ святилищемъ, и его сравнивали съ небомъ, а красавицъ съ солнцемъ, мѣсяцемъ и звѣздами, столько же таинственными и неприступными. Тамъ, вышивая шелками, золотомъ и жемчугомъ, находя отраду только въ яствахъ сахарныхъ, бѣдная дѣвушка съ трепетомъ ждала того дня, когда расплетутъ ей съ плачемъ и пѣснями русую косу и поведутъ на *судъ божій*, то-есть подъ вѣнецъ съ суженымъ, назначеннымъ не волею сердца, но судьбою и родительскою властію. Дѣйствительно, замужство было для нея судомъ божіимъ, потому-что отъ него зависѣла вся ея будущность. Что̀ же оно обѣщало ей? давало ли возможность освободиться изъ золотой клѣтки и за-

нять какое-нибудь мѣсто въ обществѣ? Нисколько!...

Она мѣняла только свою золотую клѣтку на другую, можетъ-быть желѣзную, гдѣ не утѣшала ее и послѣдняя отрада, которую находила она въ родительской любви. Осужденная вести жизнь съ человѣкомъ немилымъ, совершенно незнакомымъ ей до замужства, она скоро привыкала къ его *нраву молодецкому*. И вотъ являлось ей новое утѣшеніе — шолковая плетка и побои. Не турниры, не рыцарское обожаніе, не имя царицы любви, не пѣсни менестрелей встрѣчали женщину въ нашемъ обществѣ,—но теремъ, въ которомъ, правда, не было евнуховъ, но деспотическая воля мужа и народнаго обычая держала ее въ-заперти, а плеть и побои служили единственнымъ доказательствомъ супружеской нѣжности.

Что же могло быть слѣдствіемъ такого состоянія женщины, если не совершенный упадокъ общественной жизни? Развѣ мать-раба можетъ воспитать сына, не передавъ ему того же самаго характера униженія, и необходимаго его слѣдствія, необузданнаго тиранства! Женщина, обожаемая на западѣ, воспитала человѣка способнаго понимать прелесть общественной жизни; женщина на востокѣ, порабощонная и униженная, не могла внушить и

мужчинѣ ничего, кромѣ рабскаго униженія и грубой жестокости...

Все это высказалось, какъ нельзя лучше, въ нашихъ пѣсняхъ,—и отъ-того отличительный характеръ ихъ глубокая тоска, проникнутая сердечнымъ страданіемъ, и отчаянный разгулъ, полный самозабвенія. Въ каждомъ словѣ ихъ слышны *слезы горючія*, которыя рѣжутъ душу, какъ булатный ножъ,—видна тоска, которая падаетъ на сердце, *какъ туманъ на сине море*. Въ нихъ мать плачетъ, *какъ рѣка льется*, слезы сестры текутъ какъ ручей; сердце дѣвушки милый другъ *безъ солнца сушитъ*, *безъ мороза знобитъ*, радости ея разноситъ *буйный вѣтеръ по чисту полю*; добрый молодецъ въ слезахъ родится, въ слезахъ крестится, и во всю жизнь, какъ *былинушка въ чистомъ полѣ*, шатается его *безпріютная головушка*. Вотъ какъ высказывалась русская душа, глубоко проникнутая скорбью:

Да спасибо же тебѣ, синему кувшину,
Ты размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину!
Посѣдѣла-то моя буйная головушка
Ни отъ время, ни отъ лѣтъ, все отъ безвременья;
Я родился во слезахъ, во слезахъ крестился,
Плакалъ долго сиротой отъ людскихъ навѣтовъ;
Красна дѣвица-душа не для утѣшенья,
Все для слезъ же меня молодца полюбила;
Потухаютъ во слезахъ мои ясны очи,

Изсыхаетъ бѣла грудь съ тяжкихъ воздыханій.
Да спасибо же тебѣ, синему кувшину,
Ты размыкалъ, разогналъ злу тоску-кручину!

Съ другой стороны, если въ пѣсняхъ нашихъ вы видите русскаго человѣка въ минуту веселости, то не ищите въ немъ того тихаго, усладительнаго веселья, которое рождается отъ полноты душевнаго удовольствія и счастія: вы найдете въ нихъ только буйную, дикую радость человѣка, который хочетъ забыть вѣчную печаль свою, и потопить ее въ грубомъ упоеніи. Тутъ встрѣтите вы описанія чувственныхъ наслажденій, гдѣ вино и драка нетолько составляютъ отраду, но считаются удальствомъ, геройствомъ. Вотъ одна изъ хороводныхъ пѣсенъ:

Ай, на горѣ мы пиво варили;
Ладо мое, ладо, пиво варили!
Мы съ этого пива всѣ вкругъ соберемся,
Мы съ этого пива всѣ разойдемся,
Мы съ этого пива всѣ присядемъ,
Мы съ этого пива спать ляжемъ,
Мы съ этого пива опять встанемъ,
Мы съ этого пива всѣ въ ладоши ударимъ,
Мы съ этого пива всѣ перепьемся;
Теперь съ этого пива всѣ передеремся,
Ладо мое, ладо, всѣ передеремся!

Замѣчательнѣе другихъ пѣсни удалыя и казацкія, порожденныя своевольною жизнію волжскихъ и донскихъ удальцовъ. Въ нихъ болѣе

поэзіи... Буйная жажда воли, заставлявшая этихъ людей бросаться въ опасности, нерѣдко была искупаема доблестными дѣяніями; разбойники, покорявшіе Сибирь, превращались въ героевъ,—и подвиги Ермака, походы на Амуръ и битвы съ *силами богдойскими* воспѣваются въ казацкихъ балладахъ. Разумѣется, поэзія этихъ пѣсенъ груба, какъ самая жизнь удальцовъ,—дышетъ презрѣніемъ къ опасностямъ и смерти, отчаяннымъ, бѣшенымъ разгуломъ, неукротимою волею человѣка, который насильно оторвалъ себя отъ общества и былъ чуждъ всякихъ понятій о гражданственности, котораго товарищами были темная ночь и булатный ножъ, который проводилъ жизнь въ дремучемъ лѣсу или на лодкѣ, начиная ее въ царевомъ кабакѣ, а оканчивая на двухъ столбахъ съ перекладиною.

Солдатскія пѣсни, образовавшіяся уже въ позднѣйшее время, имѣютъ особый характеръ. Въ нихъ нѣтъ шумнаго разгула, какимъ отличаются пѣсни разбойничьи и казацкія, но онѣ исполнены тѣмъ духомъ подчиненности, который составляетъ драгоцѣннѣйшее качество русскаго солдата, совершившаго столько чудныхъ подвиговъ передъ глазами изумленной Европы. Эти-то подвиги воспѣваются въ солдатскихъ пѣсняхъ. Хотя въ поэтическомъ отношеніи онѣ уступаютъ другимъ, однако и въ

нихъ является иногда глубокое чувство, которое шевелитъ сердце солдата при воспоминаніи о родной избѣ, покинутой надолго для защиты царя и вѣры православной, о родныхъ и друзьяхъ, о милой сердцу, — и тогда онѣ дышатъ неподдѣльною поэзіею. Вотъ какъ, проникнутый грустью при разлукѣ съ родиной, молодой воинъ утѣшаетъ свою любезную:

Ты не плачь, не плачь, красна дѣвица,
Не слези лица румяваго,
Не вздыхай, моя разумная!
Не одной-то, вѣдь, тебѣ тошно,
И мнѣ, молодцу, грустнехонько,
Что иду-то я на чужую сторону,
На чужодальню, незнакомую,
Что на службу я иду государеву.

Древнѣйшія изъ нашихъ пѣсенъ — хороводныя, подблюдныя и свадебныя. Конечно, онѣ дошли до насъ въ измѣненномъ видѣ и утратили первобытный колоритъ, потому-что, хранясь въ памяти народа, эти пѣсни никогда не предавались письму, и должны были безпрестанно поновляться; но нѣтъ сомнѣнія, что онѣ древнѣе прочихъ. Въ нихъ есть много намековъ на забытые языческіе обряды, хотя и перемѣшанные уже съ повѣрьями христіянскими, какъ напримѣръ пѣсни колядныя,—напоминающія греческія *χελιδωνίσματα*. Въ хороводныхъ пѣсняхъ видно даже начало драматичес-

кое, которое, при другомъ общественномъ составѣ, могло обѣщать плодотворное развитіе поэзіи и можетъ-быть рожденіе народнаго театра. Нѣкоторыя пѣсни, сопровождавшіяся играми, походятъ на тѣ праздничныя пѣсни древнихъ Грековъ, которыя послужили началомъ ихъ театра, и произвели въ-послѣдствіи Эсхиловъ и Софокловъ. На этихъ играхъ хороводъ образовалъ сцену, гдѣ являлся добрый молодецъ съ красною дѣвицею или мужъ съ женою, и, при пѣніи хора, иногда раздѣленнаго на двѣ половины, разыгрывалась какая-нибудь сцена любви или примиренія. Такъ одна изъ подобныхъ пѣсенъ выражала *супружескую любовь* и сопровождалась особенной игрою: въ средину круга, составленнаго изъ мущинъ и женщинъ, выходили два лица, представлявшія мужа и жену. Хороводъ начиналъ пѣсню:

Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня, молодца, не любитъ,
Душа, сердце мое, ненавидитъ!
Я поѣду во Китай-городъ гуляти,
Молодой женѣ покупку покупати:
Саму, саму предиковинну юбку,
Саму, саму предиковинну кофту.

Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце!
Ты постой-ка, жена,
Я примѣрю на тебя,
Я примѣрю, приложу,
Я на женушку погляжу.

Во время пѣнія этой строфы мужъ ухаживалъ за женою, предлагая ей подарки, а она отворачивалась и не слушала его. Хоръ продолжалъ:

Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня, молодца, не любитъ,
Душа, сердце мое, ненавидитъ!
Я поѣду во Китай-городъ гулять,
Молодой женѣ покупку покупать:
Саму, саму предковинну плетку.

Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце!
Ты постой-ка, жена,
Я примѣрю на тебя,
Я примѣрю, приложу,
Я на женушку погляжу.

При-этомъ мужъ вооружался кнутомъ, и тогда сцена перемѣнялась. Жена изъ гордой и неумолимой дѣлалась, какъ говорится, шолковою и начинала увиваться около мужа, осыпая его поцѣлуями. Хоръ заключалъ:

Посмотрите, добрые люди,
Какъ жена меня, молодца, любитъ,
Душа, сердце мое, поцѣлуетъ!

Сказки наши отличаются тѣмъ же самымъ характеромъ какъ и пѣсни, съ тою разницею, что въ нихъ, какъ въ поэзіи эпической, требующей бо̀льшаго общественнаго развитія, всѣ недостатки должны были выразиться яснѣе и еще

ярче показать безплодіе и грубость тогдашней жизни. Тамъ иногда высказывалось чувство, которое можетъ быть трогательно и глубоко у человѣка самаго необразованнаго и доступно народамъ самымъ дикимъ; здѣсь же должна говорить фантазія,—а фантазія людей, не проникнутыхъ поэтическимъ началомъ, не можетъ быть привлекательною. Русскія сказки выражаютъ это, какъ нельзя лучше. Въ нихъ нѣтъ уже и тѣхъ чувствъ, которыми проникнуты наши пѣсни, а видна только необузданная фантазія, исполненная преувеличеній и грубости. Вмѣсто героевъ мы видимъ въ нихъ чудовищныхъ исполиновъ, олицетворяющихъ одну матеріяльную силу; богатырей, которые еще въ дѣтствѣ кого за руку схватятъ, у того рука прочь, кого за голову возьмутъ, у того голова долой;—которые мечутъ въ ротъ по цѣлой ковригѣ хлѣба и запиваютъ чашею зелена вина въ полтора ведра;—у которыхъ голова съ пивной котелъ, и такъ тверда, что на ней не шевелятся кудри отъ ударовъ пятидесяти-пудового *чингалища*;—у которыхъ между плечъ укладывается косая сажень, а между глазъ калена стрѣла. Героиня этихъ сказокъ—красная дѣвушка или вдовушка, съ устами сахарными, съ грудью бѣлою, лебединою—является, по бо̀льшей части, или угнетенной рабою, или развратной чародѣйкою,

собирающею лютыя зелья. Чудесное въ нихъ лишено всякой граціи: видны только драконы, стерегущіе сокровища, змѣи дышащіе огнемъ, колдуньи, превращающія любовниковъ въ быковъ золоторогихъ.

Нѣкоторыя сказки составляютъ какъ-будто отдѣльныя поэмы, напримѣръ — *Василій Буслаевичъ*, *Садко Богатый*, *Щелканъ Дудентьевичъ*; другія имѣютъ между собою связь и похожи на эпизоды какого-то цѣлаго произведенія.

Особенно замѣчателенъ рядъ сказокъ, которыхъ содержаніе относится ко временамъ Владиміра I, Эти сказки—числомъ около семнадцати — могутъ быть названы однимъ общимъ именемъ: *Пиры князя Владиміра и подвиги его богатырей*. Онѣ составляютъ рядъ эпизодовъ, имѣющихъ общее значеніе и характеръ, и должны считаться древнѣйшею русскою эпопеею и важнѣйшимъ проявленіемъ фантазіи Русскаго народа. Нѣтъ сомнѣнія, что эти сказки, образовавшіяся, можетъ-быть, подобно греческимъ рапсодамъ, носятъ на себѣ отпечатокъ древности, хотя и дошли до насъ не всѣ и притомъ значительно измѣненными. Въ нихъ, несмотря на невѣжественные промахи въ географіи, упоминаются только тѣ города, которые существовали при Владимірѣ, и видно сходство съ нѣкоторыми поэтическими сказаніями Нестора, какъ напримѣръ съ поединкомъ Яна-

Усмошвеца и печенѣжскаго богатыря. Въ этой поэмѣ являются два главныя лица, *солнышко-князь Владиміръ*, герой нашей туманной древности, просвѣтитель Россіи, и *душа-княгиня Апраксѣевна*, вымышленная его супруга. Ихъ окружаетъ толпа могучихъ богатырей: на первомъ планѣ стоятъ Илья-Муромецъ и Добрыня Никитичъ, а за ними Алеша-Поповичъ, Соловей Будимировичъ, Чурила Пленковичъ и другіе. Во всѣхъ эпизодахъ, съ перваго взгляда несвязныхъ и безхарактерныхъ, есть единство, которое состоитъ въ борьбѣ витязей за славнаго князя Владиміра и въ шумныхъ пирахъ въ его теремѣ. Лицо Владиміра и однообразные подвиги богатырей составляютъ невидимую связь между эпизодами, и даютъ характеръ единства всей эпопеѣ. По *слову ласкову* кіевскаго *солнышка*, богатыри сражаются съ его врагами. Въ лицѣ Тугарина Змѣевича выведены, кажется, тѣ азіятскіе варвары, которые тогда безпрестанно тревожили Русь, появлялись невѣдомо откуда, исчезали неизвѣстно куда, и часто держали въ осадѣ самый Кіевъ. Змѣй-Горынчище представляетъ, вѣроятно, язычество, а въ Соловьѣ-Разбойникѣ олицетворены, можетъ-быть, тѣ внутренніе злодѣи, которые—по свидѣтельству Нестора—такъ размножились при Владимірѣ, что на истребленіе ихъ посылались цѣлыя войска. Противъ

этихъ-то внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ тогдашней Руси подвизаются витязи князя Владиміра.

Ясно, что историческія преданія о подвигахъ и войнахъ Владиміра Святославича послужили основою этихъ пѣсенъ,—и изъ соединенія ихъ составилась цѣлая народная эпопея, гдѣ истина была только рамою, въ которую вставляли вымышленныя событія и баснословныя лица, въ которую вошло все, что только могло породить народное воображеніе. Не ищите въ Пирахъ князя Владиміра сходства ни съ пѣснями объ Артусѣ и рыцаряхъ Круглаго Стола, ни съ поэмами о Карлѣ Великомъ, носящими на себѣ печать среднихъ вѣковъ, ни съ Нибелунгами, этой героической поэмой, вполнѣ проникнутой духомъ нѣмецкаго рыцарства и отличающейся обдуманною цѣлостію плана и изящнымъ выраженіемъ. Въ нашей пѣсни видимъ совершенно-иной характеръ, вполнѣ отражающій русскую жизнь, съ остатками нравовъ скандинавскихъ и вліяніемъ востока.

Слѣды того героическаго скандинавскаго вѣка, который отразился въ сказаніяхъ Нестора и отчасти въ Словѣ о Полку Игоревѣ, видны и въ Пирахъ князя Владиміра. Нѣкоторыя лица ясно показываютъ, что тѣ же древнѣйшія преданія, которыя послужили основою сказаніямъ лѣтописца о Рогнѣдахъ и Олегахъ, имѣ-

ли вліяніе и на пѣсни о князѣ Владимірѣ. Въ нихъ женщина является иногда героинею, достойною подругою богатырей: такъ жена Дуная на пиршествѣ сбиваетъ стрѣлою кольцо съ головы мужа; супруга боярина Ставра, заключоннаго въ оковы по приказанію князя, пріѣзжаетъ въ Кіевъ переодѣтою въ мужское платье и, побѣдивъ въ стрѣльбѣ богатырей Владиміра, освобождаетъ мужа. Самый Ставръ, играющій на гусляхъ во время пировъ и величающій въ пѣсняхъ своихъ князя и княгиню, есть лицо чисто-скандинавское. Изъ этого видно, что основа поэмы, или по-крайней-мѣрѣ нѣкоторыхъ пѣсенъ ея, очень древняя. Но въ то же время нѣтъ сомнѣнія, что на нее имѣлъ вліяніе и востокъ,—не тотъ востокъ, съ которымъ Европейцы познакомились во время крестовыхъ походовъ и пребыванія Аравитянъ въ Испаніи, — но варварскій, дикій, съ его фанатизмомъ и грубою фантазіею. Во всѣхъ нашихъ сказкахъ замѣтны слѣды восточнаго вліянія, но въ Пирахъ князя Владиміра оно отразилось съ бо́льшею яркостію. Такъ напримѣръ, княгиня Апраксѣевна изъ какой-нибудь Рогнѣды превратилась въ чувственную азіятскую женщину, которая то обнимается при всѣхъ на пиру съ Тугариномъ Змѣевичемъ, то влюбляется въ прохожаго богомольца и назначаетъ ему постыдное свиданіе. Такимъ обра-

зомъ, восточная чувственность заклеймила одно изъ главныхъ лицъ поэмы. Содержаніе ея составляютъ битвы и пиры, — что̀ не помѣшало Гомеру создать Иліаду, — но ка́къ они выражены въ нашей эпопеѣ!... Подвиги богатырей кіевскихъ отличаются чудовищнымъ преувеличеніемъ: они побиваютъ безпрестанно цѣлыя непріятельскія войска, переѣзжаютъ въ два часа изъ Кіева въ Черниговъ; кони ихъ перескакиваютъ однимъ прыжкомъ черезъ рѣки въ версту шириною. Вездѣ видны восточныя гиперболическія картины. Нѣкоторые эпизоды напоминаютъ даже Шахъ-Намэ Фирдевси: сраженіе Ильи-Муромца съ сыномъ Збутомъ, котораго онъ не узнаётъ, встрѣтясь съ нимъ на охотѣ, похоже на смерть Зораба, погибающаго въ битвѣ съ отцомъ своимъ Рустемомъ, хотя въ русской сказкѣ и нѣтъ тѣхъ блестящихъ красокъ, которыми отличается твореніе персидскаго поэта. Не должно однакожъ искать большого сходства между Шахъ-Намэ и русскими сказками: правда, и тамъ и здѣсь мы находимъ одни и тѣ же преувеличенія и гиперболическія картины и выраженія,—но въ поэмѣ Фирдевси все это у мѣста, потому-что все въ духѣ нравовъ и языка и происходитъ отъ избытка поэзіи, а въ нашей эпопеѣ показываетъ только преувеличеніе матеріяльной силы и бѣдность умственной жизни; въ одной

вы чувствуете жаръ палящаго восточнаго солнца, въ другой — головоломный паръ русской бани.

Пиршества въ теремахъ Владиміра изображены еще грубѣе битвъ. Тамъ пьяный Дунай убиваетъ при всѣхъ жену, князья и бояре, несмотря на то, что *въ полсыта наѣдаются, въ полпьяна напиваются*, — ползаютъ *окарачь* по терему, а Тугаринъ Змѣевичъ

Нечисто у князя за столомъ сидитъ,
Ко княгинѣ руки въ пазуху-кладетъ.

Впрочемъ, несмотря на грубость и недостатки этой поэмы, нѣкоторые эпизоды ея нечужды поэзіи, хотя и нѣтъ ни одного, который былъ бы вполнѣ выдержанъ: такова пѣсня о *Ставрѣ Годеновичѣ*. Мѣстами видны даже попытки на изображеніе характеровъ. Илья-Муромецъ, любимый герой русскій, побѣдитель Соловья-Разбойника, освободитель Кіева, является въ поэмѣ витяземъ чести и представляетъ собою истинный типъ русскаго человѣка, сидня до поры до времени и богатыря когда расходится. Чурила Пленковичъ, стольникъ Владиміра, изображонъ какимъ-то русскимъ Донъ-Жуаномъ, грозою старыхъ мужей: передъ нимъ отворяются по ночамъ терема красавицъ, ему поручаетъ князь одѣвать молодыхъ женщинъ, онъ дорожитъ своей кра-

сотою и такъ бережотъ лицо отъ солнца, что скороходъ носитъ всегда передъ нимъ подсолнечникъ. Иногда замѣтна неподдѣльная веселость и ѣдкая насмѣшка, какъ напримѣръ поздравленіе Запавы отставному своему жениху Шапу:

Здравствуй! женимши, да не́ съ кѣмъ спать.

Но часто эта веселость и шутка является слишкомъ циническою и выходитъ изъ предѣловъ пристойности: таковы слова жены Ставра къ неузнающему ее мужу.

Вообще, наши сказки вполнѣ выражаютъ вмѣстѣ съ пѣснями старую русскую жизнь: онѣ грубы, но часто наивны и нечужды поэзіи, фантазія въ нихъ чудовищная, но иногда полная силы. Нерѣдко встрѣчаются мѣста, свидѣтельствующія, что подъ грубой корою скрывалась иногда блестящая поэзія. Описаніе корабля Сокола въ одной изъ пѣсенъ о князѣ Владимірѣ, несмотря на изысканность, не лишено красоты и напоминаетъ о богатой торговлѣ Русскихъ съ Греціею. Въ другой пѣснѣ — Василій Буслаевичъ встрѣчаетъ однажды въ Новгородѣ на улицѣ старика:

Стоитъ тутъ старецъ Пилигримище,
На могучихъ плечахъ держитъ колоколъ,
А вѣсомъ тотъ колоколъ въ триста пудъ.

Буслаевичъ ударяетъ его дубиною:

Качается старецъ, не шевельнется.
Заглянулъ онъ, Василій, старца подъ колоколомъ,
А и.во лбѣ глазъ ужъ вѣку нѣтъ.

Въ лицѣ этого пилигримища нельзя не узнать самого Новгорода, дряхлаго и неколебимаго старца, съ его вѣчевымъ колоколомъ. Въ нѣкоторыхъ сказкахъ видѣнъ сатирическій элементъ, хотя также грубый, но мѣткій и разительный. Такъ сказка о *Ершѣ Ершовѣ* есть сатира на запутанныя и утомительныя формы стариннаго дѣлопроизводства, а пѣсня объ *Игуменѣ Чурилѣ*—насмѣшка надъ тѣмъ лицемѣрствомъ, которое, подъ личиною смиренномудрія, нерѣдко скрывало пороки и даже развратъ.

Кромѣ пѣсенъ и сказокъ у насъ существуютъ еще духовныя легенды, или такъ-называемые *стихи*. Происхожденіе ихъ нѣсколько отлично отъ происхожденія народныхъ пѣсенъ и сказокъ: тѣ рождены цѣлымъ народомъ, служили памятниками его жизни, сдѣлались всеобщимъ достояніемъ, вездѣ пѣлись и разсказывались. Стихи, напротивъ, не составляютъ самобытнаго созданія Русскаго народа, но принесены къ намъ первоначально изъ Греціи и остались чуждыми народу. Въ Греціи съ давнихъ временъ существовали пѣвцы, или рапсоды, сохранившіе самыя пѣсни Иліады. По

принятіи Греками христіянской вѣры, они, бродя по церковнымъ праздникамъ и ярмаркамъ, пѣли духовныя пѣсни, или сочиненныя заранѣе, или импровизованныя. До сихъ поръ во многихъ мѣстахъ Греціи и Турціи видны эти слѣпые пилигримы, распѣвающіе духовныя легенды и даже пѣсни клефтовъ. По введеніи въ Россію христіянской вѣры, наши *паломники* обратились на поклоненіе къ святымъ мѣстамъ Палестины и Греціи. Отправляясь на Аѳонскую-гору или въ Іерусалимъ, они встрѣчали на пути толпы греческихъ рапсодовъ и слышали ихъ духовныя пѣсни и легенды. Тогда и въ Россіи,—особенно въ Кіевѣ, средоточіи и святынѣ христіянской Руси, куда также стекались поклонники,—начали появляться толпы русскихъ рапсодовъ, или, лучше сказать, нищихъ, которые, сидя съ чашечками у церковныхъ папертей или на рынкахъ, распѣвали пѣсни духовнаго содержанія, составленныя въ подражаніе греческимъ. Но эти пѣсни, занесенныя извнѣ, никогда не были потребностію всего народа, никогда не были имъ усвоены и оставались только въ памяти нищихъ. У другихъ народовъ подобныя пѣсни составляютъ общее достояніе, наровнѣ съ другими поются и подъ кровомъ хижины, и въ полѣ за земледѣльческими работами, какъ напримѣръ пѣсня — *Ὁ ἅγιος Βασιλεύς* въ Греціи, или легенда о свя-

томъ Георгіи у Шведовъ [3]. У насъ, напротивъ, *стихи* никому неизвѣстны, кромѣ нищихъ, и одна только пѣсня о *Бѣдномъ Лазарѣ* знакома нѣсколько крестьянамъ, и то потому, что на деревенскихъ праздникахъ и сельскихъ ярмаркахъ она поется чаще другихъ, съ цѣлію возбудить слушателей къ подаянію милостыни.

Такимъ образомъ, происхожденіе этихъ легендъ совершенно не русское; а разсматривая ихъ критически, видимъ въ нихъ еще менѣе поэзіи, чѣмъ въ пѣсняхъ и сказкахъ, потому что здѣсь не было и того одушевленія, которое возникало изъ самобытной потребности народа и окрыляло фантазію. Несмотря, однако же, на бѣдность поэзіи, на отсутствіе творчества и недостатокъ красокъ, въ этихъ легендахъ замѣтны иногда слѣды того же народа, который является намъ въ пѣсняхъ и сказкахъ,—народа долго страдавшаго, *бѣднаго и гонимаго Лазаря*, который, не находя утѣшенія въ бѣдственной жизни, полагался только на вознагражденіе въ будущемъ, на *Господа Бога* и его *праведный судъ*. Бѣднякъ, терпя угнетенія, ждалъ того часа, когда ангелы небесные, приведя душу его *къ свѣтлому раю*, скажутъ:

А сиди-жъ ты, душенька, годъ по годамъ,
А сиди-жъ ты, душенька, вѣкъ по вѣкамъ.

За свою-то правду за праведную,
За свою-то муку превѣчную!

Въ этихъ стихахъ воспѣвается страшный судъ, чудеса угодниковъ, пагубныя слѣдствія грѣха, награда добродѣтели и смиренія... Во всемъ этомъ замѣтно болѣе благочестія сочинителей, нежели поэзіи, видна фантазія народа, не проникнутаго изящнымъ вкусомъ, или, лучше сказать, отсутствіе фантазіи. Нѣтъ ни одной истинно-поэтической пѣсни, подобной напримѣръ легендѣ о *Святой Катеринѣ*, которую Мармье слышалъ на островахъ Фероэ, изображающей въ очаровательныхъ краскахъ смерть мученицы, убитой на пути развратнымъ пилигримомъ, или пѣснѣ о *Святомъ Георгіи*, въ которой прекрасно описано спасеніе женщины святымъ воиномъ и обращеніе въ христіянство цѣлаго народа.

Какъ въ сказкахъ нашихъ главнымъ лицомъ является богатырь Илья-Муромецъ, гроза разбойниковъ, такъ въ *стихахъ* важное мѣсто занимаетъ Илья-Пророкъ, *судья праведный*, которому заживо *показалъ Господь видѣть муку и рай*, который встрѣчаетъ души *грѣшныхъ и праведныхъ*, и, отсылая одну на вѣчное мученіе, провожаетъ другую къ вѣчному блаженству:

Онъ беретъ ее за рученьку за правую,
Онъ ведетъ ее чрезъ рѣчку черезъ огненную;

И поютъ они пѣсни херувимскія,
Херувимскія, серафимскія.

Во всѣхъ этихъ пѣсняхъ видно смѣшеніе церковныхъ преданій съ народнымъ вымысломъ, смѣшеніе грубое и лишонное поэзіи. Нужно имѣть совершенно-неэстетическій вкусъ, или быть помрачену ложнымъ патріотизмомъ, чтобъ находить въ нихъ что-нибудь выше самыхъ дурныхъ сказокъ и не видать, что онѣ всегда были чужды народу, который, слушая слѣпыхъ нищихъ, не заимствовалъ у нихъ ни одной пѣсни и не зналъ, о чемъ они поютъ...

Вотъ наша древняя народная поэзія, и она не могла быть иною, потому-что была вѣрна жизни, которую изображала. Наши пѣсни, сказки и *стихи* можно сравнить съ тѣми произведеніями суздальскаго гравированія, гдѣ все является грубымъ и яркимъ,—гдѣ небо состоитъ изъ синяго пятна, земля изъ зеленой полосы, люди раскрашены синькой и сурикомъ,—гдѣ подъ грубо-намалеванными красками нельзя отыскать первоначальнаго очерка предметовъ, и гдѣ не существуетъ ни переливовъ свѣта и тѣни, ни физіономіи лицъ, но однѣ только фигуры, безобразныя и грубыя. Что въ нашихъ старинныхъ пѣсняхъ и сказкахъ есть поэзія, въ томъ никто не сомнѣвается, но что она большею частію груба и не можетъ служить источникомъ для новѣйшей поэзіи,—это также

несомнѣнно и ясно. Конечно, мы можемъ черпать изъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ,—какъ сдѣлалъ Пушкинъ въ *Русалкѣ* и Лермонтовъ въ *Пѣснѣ про царя Ивана Васильевича*,—но черпать только содержаніе древнихъ преданій, а не идеи и духъ старой Руси, несообразныя съ нашимъ новымъ воспитаніемъ и потребностями. Произведенія Пушкина и Лермонтова служатъ лучшимъ доказательствомъ, что древняя поэзія отжила свой вѣкъ и совершенно умерла для насъ. Мы можемъ разрывать ее, какъ разрываютъ какую-нибудь Помпею, можемъ усвоивать поэзіи своей нѣкоторыя ея формы, какъ строимъ дома въ помпейскомъ вкусѣ,—но намъ невозможно уже сочувствовать старымъ идеямъ, какъ невозможно парижанину жить той самой жизнію, какою жилъ обитатель Помпеи.

---

## IV.

## ПОЭЗІЯ СХОЛАСТИЧЕСКАЯ.

---

Поэзія болѣе и болѣе приходила въ упадокъ, по-мѣрѣ-того какъ падалъ народный духъ. Въ

Сказаніи о Мамаевомъ Побоищѣ видно по-крайней-мѣрѣ желаніе подражать тому, что́ проникнуто было истиннымъ воодушевленіемъ, видно, что авторъ его увлекался Словомъ о Полку Игоревѣ. Это была послѣдняя искра поэзіи, заброшенной нѣкогда въ русское общество Норманнами. Въ слѣдующихъ вѣкахъ мы встрѣчаемъ только сухія историческія повѣсти, совершенно-чуждыя всего прекраснаго и представляющія смѣшеніе исторіи съ сказками.

Ясно, что въ народной жизни не оставалось стихій, способствующихъ развитію поэзіи. Несмотря на то, письменность все еще порождала попытки къ поэтическимъ сочиненіямъ и заставляла даже искать поэзіи тамъ, гдѣ не могло быть для нея ни малѣйшей пищи. Словомъ, русская жизнь, поражонная тлетворными началами, увядала медленно, какъ подточенное дерево. Не доставало только, чтобы къ этому безплодному дереву, часъ-отъ-часу засыхавшему, привить еще вѣтви, такъ же гнилыя и безплодныя. Наконецъ и это случилось.

Въ XVI вѣкѣ основана была кіевская Академія, а въ XVII Славяно-греко-латинская Школа въ Москвѣ,—и тогда-то возникла у насъ схоластическая учоность, занесенная изъ Польши. Эта учоность, усиливаясь болѣе и болѣе, должна была окончательно убить умственную жизнь древней Руси и показать невозможность

нашего развитія на старыхъ началахъ, безъ совершеннаго, коренного преобразованія общества и сближенія его съ образованной Европою. Облекая въ сухія формы всѣ отрасли литературы, она произвела и поэзію, которою замыкается послѣдній періодъ нашей древней письменности. Эта схоластическая, искусственная поэзія, порожденная школьнымъ образованіемъ, явилась до-того обильною, что исчерпала почти всѣ поэтическія формы. Она выражалась въ духовныхъ и свѣтскихъ одахъ, элегіяхъ, посланіяхъ, пѣсняхъ, псалмахъ, притчахъ... Все это носило на себѣ характеръ самаго нелѣпаго подражанія, чуждаго поэзіи и вкуса.

Важнѣйшими представителями схоластической школы были Лазарь Барановичъ, Симеонъ Полоцкій и Сильвестръ Медвѣдевъ. Они хотѣли все обратить въ поэзію, думая, что поэзія состоитъ въ одной только формѣ, и что для нея ничего не нужно, кромѣ стиховъ. Нетолько письма и посвященія книгъ, но и предисловія къ нимъ, даже точныя науки, какъ напримѣръ ариѳметика, излагались стихами. Симеонъ Полоцкій самый календарь переложилъ въ стихи. Но во всемъ этомъ потопѣ виршей, поэматъ, апологій, эпистолъ, акростишей, эпитафіонъ,—не замѣтно было ни одной искры поэзіи. Все писалось и сочинялось единствен-

но потому, что того требовало школьное воспитаніе.

Безжизненная вялость и однообразіе этой поэзіи изумительны: довольно узнать одно произведеніе, чтобъ получить понятіе обо всѣхъ. Недостатокъ творчества, чудовищный языкъ и несвойственный русской рѣчи размѣръ стиховъ, несмотря на богатство формъ, запечатлѣли всѣ произведенія клеймомъ надутой бездарности и грубости. Однакожъ изученіе школьной поэзіи весьма важно: она составляетъ необходимое звено въ исторіи нашей литературы, замыкающее всю старую жизнь. Особенно любопытны и поучительны творенія тѣхъ писателей, которые по времени стоятъ ближе къ эпохѣ преобразованій Петра Великаго.

Однимъ изъ такихъ поэтовъ былъ Сильвестръ Медвѣдевъ, настоятель Славяно-греко-латинской Академіи, приверженецъ царевны Софьи, казненный въ-послѣдствіи за участіе съ нею въ стрѣлецкомъ бунтѣ. Его стихотворенія заслуживаютъ передъ другими предпочтительное вниманіе, потому-что, не отступая ни въ чемъ отъ прочихъ произведеній схоластики, писаны не задолго до реформы Петра. Разборъ одной изъ его піесъ даетъ нетолько понятіе о его сочиненіяхъ, но и обо всей школѣ, къ которой онъ принадлежалъ.

Между прочимъ Медвѣдевъ написалъ: *Плачъ*

*и утѣшеніе о кончинѣ царя Ѳеодора Алексѣевича.* Это большая элегія, раздѣленная на двадцать двѣ вирши, или пѣсни, по числу лѣтъ жизни государя. Сперва представляется плачъ *сугубоглаваго царскаго орла, преславнаго клейнода россійскаго,* въ лицѣ котораго изображено русское войско, потомъ плачъ царицы Марѳы Матвѣевны, затѣмъ рыданіе двухъ тётокъ и семи сестеръ покойнаго государя, которыхъ стихотворецъ называетъ *девятью чинами ангельскими*, и все заключается сѣтованіемъ Великой, Малой и Бѣлой Россіи, оплакивающихъ своего *Дара-Божія.* Ѳеодоръ утѣшаетъ всѣхъ попеременно, говоря, что онъ, покинувъ земную юдоль, блаженствуетъ въ царствіи небесномъ, и въ-заключеніе прибавляетъ:

Тѣмъ же преставши плача, Россіе, твоего,
Отъ прешествія въ небо радуйся моего!

Эта элегія вполнѣ показываетъ характеръ нашей схоластической поэзіи. Въ ней видимъ духъ и цѣль тогдашнихъ поэтовъ и всю ихъ школьную изысканность. Олицетвореніе русскаго орла и даже находящагося въ немъ всадника, раздѣленіе сочиненія на вирши, по числу лѣтъ жизни героя его, совершенное отсутствіе чувства, замѣненнаго надутыми витійственными фразами,—все показываетъ направленіе и элементы схоластической поэзіи. Бѣ-

лая Россія, проливающая потоки слезъ о кончинѣ царя, представлена лебедемъ, который, плавая въ слезахъ, воспѣваетъ въ послѣдней пѣсни своей Ѳеодора и его небесное царствіе. Между-тѣмъ Медвѣдевъ былъ однимъ изъ образованныхъ людей своего вѣка. Мы находимъ въ его сочиненіяхъ посланіе къ Софьѣ Алексѣевнѣ [4], заслуживающее особеннаго вниманія. Это родъ похвальной оды, въ которой онъ прославляетъ царевну за любовь къ наукамъ и просвѣщенію и хвалитъ за то, что она мудро заботилась о славѣ отечества и прогоняла *темность невѣжества изъ Москвы.* Вотъ что̀ говоритъ онъ въ своемъ *врученіи:*

Мнози въ Россіи прежде тебѣ быша,
Велін князи и цари пожиша;
Монастыри и иная создаху,
И тѣмъ тѣ славу си пріобрѣтаху.
Но ни едину той даръ Богъ подати
Изволилъ, мудрость Россамъ показати.
Аще и много тщаніе твориша
О томъ, а въ дѣлѣ того не явиша.

Изъ этого видно, что на Руси понимали уже потребность образованія, но понимали неясно, односторонне, и необходимъ былъ геній Петра, чтобъ показать въ чемъ и гдѣ должна искать Россія своего образованія и счастія.

Схоластика, выражая, вмѣстѣ съ послѣдними вздохами старой жизни, послѣднюю сте-

пень упадка старой поэзіи, то въ лирикѣ—въ формѣ элегій, эпистолъ, надгробій, то въ эпопеѣ—въ видѣ поэматъ,—выразила наконецъ этотъ упадокъ и въ формѣ драматической. Она произвела множество *комидій*, сходныхъ нѣсколько съ западными мистеріями и moralités, и однакожъ выражающихъ русскую жизнь. Несмотря на то, что содержаніемъ для этихъ комедій служили происшестія изъ Св. Писанія, въ которыхъ не допускалось ни отступленія, ни измѣненій, и что писателями ихъ были люди, бо̀льшею частію воспитанные въ Польшѣ,—въ нихъ видна печать русскаго духа и русскаго воззрѣнія на жизнь, неподвижно-неизмѣнныхъ до самой реформы Петра. Сто̀итъ разсмотрѣть одну изъ такихъ піесъ Симеона Полоцкаго или Димитрія Ростовскаго, чтобъ убѣдиться, ка̀къ, оставаясь вѣрными Св. Писанію и даже приводя изъ него цѣлые тексты, они выражаютъ въ своихъ произведеніяхъ русскую жизнь и народныя о ней понятія. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ *Комидія-притча о Блуднемъ Сынѣ* Симеона Полоцкаго.

Самое названіе показываетъ, что авторъ взялъ содержаніе изъ извѣстной притчи о блудномъ сынѣ въ Евангеліи. Дѣйствительно, онъ нетолько слѣдуетъ разсказу евангелиста во всѣхъ подробностяхъ, но даже перелагаетъ въ

стихи самыя выраженія подлинника. Съ перваго взгляда покажется невозможнымъ найти въ такой піесѣ что-нибудь русское, однако, всмотрѣвшись въ нее внимательнѣе, вы видите, что этотъ блудный сынъ Симеона—истинное чадо старой, до-петровской Руси, со всею ея грубостію и невѣжествомъ. Піеса начинается тѣмъ, что блудный сынъ просится у отца путешествовать, посмотрѣть свѣтъ и просвѣтить умъ, говоря:

Богъ волю далъ есть; се птицы лѣтаютъ,
Звѣріе въ лѣсахъ вольно пребываютъ.
И ты мнѣ, отче, изволь волю дати,
Разумну сущу весь міръ посѣщати...
Что стяжу въ дому? чему изучуся?
Лучше въ странствіи умомъ обогачуся.

Отецъ сначала не соглашается, наконецъ, уступая убѣдительнымъ просьбамъ сына, отпускаетъ его, и выдѣляетъ ему часть имѣнія въ наслѣдство. Юноша уѣзжаетъ съ рабами. Какъ же онъ пользуется свободою? Вырвавшись на волю, которой такъ страстно желалъ, молодой человѣкъ посылаетъ нанять толпу слугъ и начинаетъ съ ними грубую жизнь разврата. Симеонъ изображаетъ это совершенно съ русской точки зрѣнія. Не въ кругу друзей и женщинъ—какъ говорится въ Св. Писаніи—расточаетъ у него юноша имѣніе, но въ толпѣ наемныхъ, безстыдныхъ рабовъ; всѣ на-

слажденія, всѣ забавы его ограничиваются пьянствомъ и игрою въ зернь. Здѣсь авторъ ярко показываетъ нелѣпыя черты расточительности: играя въ зернь, блудный сынъ платитъ у него за проигрышъ и за выигрышъ. Напившись съ рабами, онъ наконецъ совершенно забывается, и его въ безчувственномъ видѣ уводятъ спать.

Облегчившись на другой день *склянницей вина*, блудный сынъ узнаетъ, что расточилъ все имѣніе. Слуги-товарищи расхищаютъ остатки и удаляются. Онъ остается безъ куска хлѣба, нанимается пасти свиней, и ѣстъ вмѣстѣ съ ними жолуди. Наказанный плетьми за растрату свиней, онъ наконецъ раскаивается, только не въ распутствѣ, которое довело его до униженія, а въ томъ, что рѣшился странствовать. Онъ упрекаетъ себя, зачѣмъ оставилъ отеческій кровъ, восклицая:

О, коль бѣ благо въ дому отчемъ быти,
Нежели въ страны чуждыя ходити!

Несчастія заставляютъ его, наконецъ, вспомнить о родительскомъ домѣ, и онъ нищимъ возвращается на родину. Принятый снова любящимъ отцомъ, преступный сынъ съ негодованіемъ вспоминаетъ о своемъ проступкѣ, и, не понимая, что совсѣмъ не желаніе *идти въ чуждыя страны*, а одно только нелѣпое упо-

требленіе свободы погубило его, благодаритъ Бога за свое возвращеніе. Авторъ заключаетъ комедію нравоученіемъ, говоря:

Юнымъ се образъ старѣйшихъ слушати,
На младый разумъ свой не уповати;
Старымъ, да юныхъ добрѣ наставляютъ,
Ничто на волю младыхъ не спущаютъ.

Изъ этого очерка видно, какъ смотрѣлъ Симеонъ Полоцкій на современную ему жизнь, какое сходство въ его сочиненіи съ народными пѣснями и сказками, и на какой идеѣ основана его комедія. Эта идея могла родиться въ такомъ только обществѣ, гдѣ, посреди старыхъ, отжившихъ элементовъ народной жизни, начало проявляться безсознательное желаніе преобразованія,—но гдѣ, подавляемое вѣковыми, устарѣлыми идеями, оно нетолько не находило сочувствія въ большинствѣ, но еще неясно, почти превратно понимаемо было и тѣми, въ комъ проявлялось. Ясно, что Симеонъ, въ лицѣ блуднаго сына, преслѣдуетъ не одного только юношу, который, осмѣлившись вырваться изъ-подъ надзора родительскаго, гибнетъ жертвою незрѣлаго ума и низкихъ страстей, а цѣлое поколѣніе тѣхъ людей, которые, сознавая тягость закоренѣлыхъ, старыхъ предразсудковъ, стремились, хотя и безсознательно, къ какой-то новой жизни. На этотъ-то новый,

едва-только зарождавшійся элементъ, мѣтитъ онъ въ своей комедіи, и его идея, какъ идея большинства, показываетъ съ одной стороны, какъ далеко еще было общество русское отъ усовершенствованія, а съ другой—какая исполинская сила была въ рукѣ Петра, который рѣшился смѣлымъ ударомъ сокрушить щитъ, прикрывавшій взлелѣянные вѣками предразсудки и закоснѣлые обычаи.

---

Въ этомъ краткомъ очеркѣ мы не думали исчислять всѣ мелочные факты, а старались показать духъ самой поэзіи, отношеніе ея къ жизни, причину и значеніе важнѣйшихъ явленій. Какіе же выводы представляютъ разобранные факты?

Русская поэзія, получившая благотворное начало отъ тѣхъ элементовъ, которые внесены были въ нашу древнюю жизнь Норманнами, и памятниками которой служатъ сказанія, сохраненныя Несторомъ, Слово о Полку Игоревѣ и отчасти отрывки изъ поэмы о Пирахъ князя Владиміра,—не могла получить дальнѣйшаго развитія, потому-что тѣ начала жизни, изъ которыхъ она возникла, вскорѣ были заглушены. Не представляя богатыхъ памятниковъ, достойныхъ стать въ сравненіе съ древними памятниками другихъ народовъ, наша

поэзія доказываетъ только, что героическія времена скандинавскихъ князей имѣли въ себѣ элементы нетолько не чуждые поэзіи, но способные принести богатые плоды, если бы народная жизнь не была поражена въ самомъ ея источникѣ такими идеями, которыя нисколько не могли способствовать дальнѣйшему ея развитію. Общественная жизнь, послѣ паденія скандинавскихъ началъ, отличалась такими элементами, которые совершенно были чужды поэзіи, а потому дальнѣйшая исторія ея до временъ Петра есть картина медленнаго, но безпрерывнаго упадка. Старая наша поэзія не вдругъ погибла, но уничтожилась медленно, разваливаясь по частямъ, какъ ветхое зданіе. Эта поэзія вполнѣ совершила весь кругъ свой, перешла всѣ фазы жизни и умерла вмѣстѣ съ нею. Она имѣла свою лирику, заключавшуюся въ пѣсняхъ, а въ послѣдствіи въ духовныхъ гимнахъ и посланіяхъ; эпопею, сперва явившуюся отрывочно въ сказаніяхъ Нестора, достигшую значительнаго развитія въ Словѣ о Полку Игоревѣ, смѣшавшуюся съ восточнымъ элементомъ въ Пирахъ князя Владиміра и наконецъ потонувшую въ схоластикѣ; имѣла и драму, какъ послѣднее проявленіе старой жизни, сперва въ зародышѣ, въ хороводныхъ пѣсняхъ, а потомъ въ схоластическихъ мистеріяхъ, запечатлѣнныхъ, какъ мы

уже видѣли, тѣмъ же самымъ народнымъ воззрѣніемъ. Такимъ образомъ, въ исторіи нашей поэзіи древній періодъ составляетъ совершенно-отдѣльную картину, полную, оконченную и даже ненужную для изображенія новой поэзіи, еслибъ только она самою противоположностію не обозначала ея направленія и своей тѣнью не выказывала ярче ея свѣта.

---

# НОВАЯ
# РУССКАЯ ПОЭЗІЯ.

---

## I.

## ЛОМОНОСОВЪ И КАНТЕМИРЪ.

---

Петръ могучей рукою сокрушилъ преграды, отдѣлявшія Россію отъ Европы, разбудилъ неподвижнаго богатыря и вывелъ его въ новый, невѣдомый міръ. Народная жизнь, потрясенная въ самомъ основаніи, пробудилась съ такими силами, какихъ и не подозрѣвали въ ней. Какъ обширная рѣка, надолго окованная льдомъ, вскрывается при благотворныхъ лучахъ весенняго солнца, такъ проснулась, потекла и зашумѣла эта жизнь, восемь вѣковъ таившая-

ся подъ корою отчужденія и невѣжества. Преобразованія Петра коснулись самыхъ глубокихъ началъ общества, потрясли самыя твердыя его основы. Русскій человѣкъ увидѣлъ наконецъ божій міръ. Тяжело ему было отстать отъ своихъ вѣковыхъ предразсудковъ, отказаться отъ той физической и умственной лѣни, въ которой такъ долго тонулъ онъ,—но могучая воля великаго государя все преодолѣла, благодаря той потребности къ новой жизни, которая была уже заброшена въ немногихъ, послѣ призыва иностранцевъ.

Не будемъ распространяться о томъ, до какой степени была приготовлена Русь къ великой реформѣ. Вражда къ образованію, раздуваемая невѣжествомъ, господствовала нетолько въ началѣ XVII вѣка, когда любознательный человѣкъ принужденъ былъ учиться тайно, по ночамъ, чтобъ не погибнуть въ общественномъ мнѣніи [5]; но даже въ концѣ этого столѣтія она почти не ослабѣла. Стóитъ сличить путешествіе игумена Даніила съ статейными списками временъ царя Алексѣя Михайловича, чтобъ увѣриться, кàкъ недалеко подвинулись понятія Русскихъ въ-теченіи пяти вѣковъ, раздѣляющихъ перваго нашего паломника отъ поколѣнія, предшествовавшаго Петру. Русскій бояринъ, объѣзжая образованную Европу, возвращался на родину, не принося

съ собою ничего, кромѣ воспоминаній о томъ, какъ во Флоренціи кормили его яичницею изъ страусова яйца, а въ *Санжарменѣ* показывали сады *улицами устроены* и *воды взводныя*, и если замѣчалъ, что въ Испаніи пьяные не валяются и не кричатъ по улицамъ, а во Франціи *люди человѣчны и ко всякимъ наукамъ тщательны* [6], —то изъ всего этого не выводилъ ровно-никакого заключенія. Самое противодѣйствіе, встрѣченное Петромъ, противодѣйствіе сильное и ожесточонное, служитъ доказательствомъ, какъ мало приготовлена была народная масса къ принятію его свѣтлыхъ идей, и какъ упорно отстаивала она свои вѣковые предразсудки. Успѣхъ Петра показываетъ только, что потребность новой жизни таилась уже въ обществѣ, и что воля монарха нашла отголосокъ въ сердцахъ немногихъ, но пламенно жаждавшихъ образованія. И Петръ совершилъ подвигъ, который безпристрастно можетъ быть названъ величайшимъ изъ дѣяній, какія только представляетъ исторія.

Великій преобразователь бросилъ въ русское общество сѣмена новой жизни. Русь начала перерождаться и—говоря словами Батюшкова—*прирастать къ просвѣщенной Европѣ*. Борода и неизмѣнный костюмъ, столько вѣковъ считавшіеся *образомъ и подобіемъ божіимъ* [7], исчезли въ высшемъ и среднемъ классѣ; женщина вы-

ведена изъ златоверхаго терема и получила право гражданства въ обществѣ; науки и художества, не стѣсняемыя въ своемъ развитіи, принялись на новой почвѣ... Но это были только сѣмена,—плоды таились и таятся еще въ будущемъ. Быстрая реформа, породивъ сильное противодѣйствіе въ народѣ, произвела противорѣчія въ жизни, неизбѣжныя при столкновеніи стараго съ новымъ, азіятскаго съ европейскимъ, невѣжества съ просвѣщеніемъ. Борьба была неизбѣжнымъ слѣдствіемъ крутого переворота; она продолжалась съ ожесточеніемъ и будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, когда народъ не проникнется вполнѣ тѣмъ животворнымъ свѣтомъ европейской гражданственности, который открылъ намъ Петръ, *прорубивъ окно въ Европу*. Невѣжество долго и упорно отстаивало свои права, и теперь еще далеко не кончилась вражда его съ свѣтлыми идеями, рожденными образованностію и вѣковою жизнію просвѣщеннаго запада. Обривъ бороду, промѣнявъ кафтанъ на фракъ, русскій человѣкъ не могъ такъ же скоро отказаться отъ своихъ старыхъ понятій; женщина, освободясь отъ плетки и терема, не сознала еще своего общественнаго значенія; наука, получа новую жизнь, несовсѣмъ вырвалась изъ старыхъ цѣпей стѣсненія и даже въ кругу жрецовъ своихъ нахо-

дитъ людей, ратающихъ подъ видомъ патріотизма за старые предразсудки.

Такимъ образомъ, русская жизнь послѣ Петра Великаго представила два элемента: стремленіе сблизиться съ цивилизаціею образованнаго запада и препятствіе, противопоставляемое невѣжествомъ, старавшимся подавить новое начало и утвердиться на прежнихъ, допетровскихъ идеяхъ. Усилія къ сближенію съ Европою должны были необходимо повлечь ближайшее знакомство съ ея нравами, — и отъ-того жизнь лучшаго класса общества, класса, жаждавшаго образованія, сдѣлалась подражательною и совершенно-чуждою формъ старой жизни. Противоборство же, встрѣчаемое этимъ элементомъ на пути къ развитію, препятствія, поставляемыя ему упорною закоснѣлостію невѣжества, должны были породить негодованіе одной части общества къ другой.

Поэзія, какъ живой отголосокъ жизни, необходимо должна была выразить оба эти элемента, — и она выразила ихъ въ двухъ различныхъ направленіяхъ, начавшихся непосредственно послѣ Петра. Съ одной стороны, въ-слѣдствіе сближенія съ образованною Европою и изученія ея литературы, началась поэзія, которая заимствовала содержаніе и форму у другихъ, и возникла слѣдовательно не изъ самыхъ началъ общественной жизни, —

это поэзія *подражательно-реторическая.* Съ другой стороны, негодованіе развивающагося молодого общества на противодѣйствіе, встрѣчаемое имъ въ лицѣ старыхъ началъ, породило поэзію, проистекавшую изъ самой жизни,—*самобытно-сатирическую.* Оба эти направленія начались одновременно, какъ необходимое слѣдствіе реформы. Но какъ Петръ не могъ одинъ совершить преобразованія старой Руси и задавить всей гидры невѣжества, то его идея должна была развиваться долго послѣ него. Русское общество, продолжая сближаться съ европейскимъ, безпрерывно усвояло плоды его жизни и боролось съ врагами просвѣщенія, которые не могли быть скоро истреблены; а потому обѣ школы поэзіи, какъ реторическая, такъ и сатирическая, шли объ руку съ общественной жизнію, какъ ея выраженіе. Другой поэзіи у насъ не могло быть, потому-что въ жизни не существовало другихъ элементовъ, кромѣ безпрестаннаго усвоенія чужого образованія и безпрестаннаго противодѣйствія новымъ идеямъ.

Эти два начала, порожденныя кореннымъ государственнымъ переворотомъ, должны были бороться до тѣхъ поръ, когда одно, какъ разумное, необходимо возникшее изъ брошеннаго однажды благотворнаго сѣмени, успѣетъ до такой степени проникнуть массу, что не най-

детъ уже сильнаго противодѣйствія, и когда народъ Русскій, усвоивъ вполнѣ пріобрѣтенное другими націями въ цѣлые вѣка умственной дѣятельности, и сравнявшись съ ними въ образованіи, начнетъ работать для человѣчества.

Разумѣется, реторическое направленіе, какъ подражательное, несмотря на важность и продолжительность своего вліянія, уступаетъ въ значеніи сатирическому, какъ самобытному и возникшему изъ общественной жизни. Это двоякое направленіе продолжалось постоянно, и исторія нашей новой поэзіи представляетъ только постепенный ходъ *подражанія*, возникшаго изъ стремленія усвоить идеи поэзіи другихъ образованныхъ народовъ, и самобытной *сатиры*, порожденной борьбою новаго европейскаго начала со стихіями старой жизни. Всѣ наши писатели были представителями этихъ двухъ школъ, изъ которыхъ первая началась съ Ломоносова, а вторая съ Кантемира.

Въ самое цвѣтущее время жизни Петра, въ самомъ разгарѣ его реформы, родились два человѣка,—одинъ близь Бѣлаго моря, въ ничтожной русской деревнѣ, другой на берегу Чорнаго моря, въ Константинополѣ. Это были—сынъ бѣднаго русскаго рыбака, крестьянинъ Ломоносовъ, и потомокъ молдавскихъ госпо-

дарей, князь Кантемиръ. Обоихъ судьба привела въ Москву въ одно и то же учебное заведеніе, духовную академію, и оба докончили образованіе за-границею, одинъ въ званіи бѣднаго студента въ марбургскомъ университетѣ, другой въ качествѣ русскаго посланника при дворахъ лондонскомъ и парижскомъ. Тотъ и другой страстно любили науку, жаждали образованія, горѣли потребностію жизни и дѣятельности,—и оба предались наукѣ и поэзіи. Но направленіе ихъ было различное. Ломоносовъ, будучи русскимъ, родясь въ крестьянскомъ быту и находясь даже въ связяхъ съ раскольниками, съ самаго дѣтства напитался множествомъ предразсудковъ, свойственныхъ его времени и званію. Только страсть къ познаніямъ, энергическая душа и могучая воля помогли ему сорвать тяжолыя цѣпи, найти путь къ образованію и сознать величіе подвига Петра, виновника возникавшаго просвѣщенія; но какъ назначеніемъ его была наука, то и поэзія возникла у него какъ слѣдствіе діалектики, а сближеніе съ Вольфомъ и Гинтеромъ и изученіе ложно-классическихъ поэтовъ, сообщили ей направленіе подражательное. Ломоносовъ положилъ начало школѣ реторической. Кантемиръ, какъ иностранецъ по рожденію, не могъ подвергнуться вліянію вѣковыхъ предразсудковъ русскаго невѣже-

ства, которое всасывалось съ молокомъ матернимъ, и родясь въ кругу аристократическомъ, еще болѣе предохраненъ былъ отъ ихъ пагубнаго вліянія; но привезенный ребенкомъ въ Россію, воспитанный въ русскомъ учебномъ заведеніи и притомъ въ духовномъ, онъ имѣлъ возможность узнать Русь со всѣми ея нравами и обычаями и постигнуть, подобно Ломоносову, всю важность реформы Петра, только-что начатой и далеко еще не конченной. Отъ того въ немъ должно было родиться удивленіе къ великому преобразователю и негодованіе къ невѣжеству, которое усиливалось остановить ходъ просвѣщенія; а долгое пребываніе при французскомъ дворѣ, познакомивъ его съ плодами европейской цивилизаціи и утонченными нравами парижской аристократіи и сблизивъ съ первѣйшими умами того времени, каковы были Мопертюи и Монтескье, — представило ему еще болѣе въ чорномъ свѣтѣ допетровскую Русь и еще сильнѣе раздуло негодованіе на враговъ образованія. Кантемиръ сдѣлался писателемъ сатирическимъ.

Вотъ два корифея нашей новой поэзіи: въ одномъ проявилось стремленіе къ знанію и наукѣ, въ другомъ презрѣніе къ невѣжеству и пороку, — въ одномъ видно усиліе найти высокое, въ другомъ жажда осмѣять и поразить низкое. Тотъ и другой не были поэтами,

чего и нельзя было требовать въ такое время когда пестрое, разнохарактерное общество находилось еще въ состояніи броженія; но оба отличались необыкновеннымъ умомъ, жаждою къ познаніямъ и дѣятельности, — оба служили наукѣ и находили въ ней отраду и утѣшеніе, одинъ борясь съ несчастіями *ради усердія къ ученію*, другой бесѣдуя въ тишинѣ кабинета *съ Греками и Латинами*.

Первымъ стихотворнымъ произведеніемъ Ломоносова была ода *На взятіе Хотина*, въ которой онъ воспѣлъ въ двадцати восьми строфахъ занятіе русскимъ отрядомъ турецкой крѣпости. Одаренный многостороннимъ и пытливымъ умомъ, Ломоносовъ съ неутолимою жаждою гонялся за всѣми отраслями знаній, переходилъ отъ исторіи къ химіи, отъ мозаики къ краснорѣчію, отъ физики къ филологіи, и, занимаясь русскимъ языкомъ, грамматикою и просодіей, вздумалъ писать стихи. Но родясь съ призваніемъ къ учоной дѣятельности, предпочитая всегда науку поэзіи, этотъ человѣкъ не могъ создать школы самобытной, а долженъ былъ обратиться къ изученію литературъ иностранныхъ. Такъ и случилось. Живя и обучаясь въ Германіи, онъ сблизился съ поэзіею Нѣмцевъ и Французовъ. Гинтеръ, Малебръ и Жанъ-Батистъ Руссо сдѣлались его образцами; у нихъ заимствовалъ онъ искусственный вос-

торгъ, напыщенный педантизмъ и школьную форму ложнаго классицизма, и положилъ, такимъ образомъ, начало школѣ реторической, которая долго считалась единственной и настоящей поэтической школою. Удѣляя свободные часы стихотворству, Ломоносовъ написалъ много одъ на разныя оффиціяльныя событія, на маскерады, праздники и иллюминаціи. Всѣ онѣ отличались холодностію, отсутствіемъ истиннаго чувства, общими мѣстами и недостаткомъ логической послѣдовательности, всѣ были лишены содержанія и наполнены одними реторическими возгласами. Въ нихъ авторъ отправлялся на Парнассъ, умывался *кастальской водою* и, *согрѣтый пермесскимъ жаромъ*, пѣлъ *россійскій родъ*. По формѣ эти оды были совершеннымъ сколкомъ Жанъ-Батиста Руссо и другихъ современныхъ одописцевъ. Вся эта придуманная реторическая изысканность, Аполлоны и музы, безпрестанные возгласы: *Россія, что тебя за весель духъ живитъ? не Пиндъ ли подъ ногами грю?*—все это считалось необходимымъ убранствомъ классической оды. У Руссо на всякомъ шагу встрѣчаются doctes Soeurs, chastes nymphes de Permesse и піитическія формулы въ-родѣ: est-ce une illusion soudaine? quels nouveaux concerts d'alégresse retentissent de toutes parts?

Несмотря на всю нелѣпость этихъ одъ, яв-

леніе Ломоносова было въ свое время пріятною новостію. Въ самомъ дѣлѣ, чего могло требовать то общество, которое, едва освободясь отъ вѣковой слѣпоты, не успѣло еще осмотрѣться, видѣло въ европейской цивилизаціи одинъ наружный лоскъ и смотрѣло на поэзію, какъ на особый видъ не истребленнаго еще шутовства? Чего, кромѣ бездушнаго реторизма, достойно было то время, когда поэту поручалось сочиненіе аллегорическихъ картинъ на иллюминаціи и похвальныхъ стишковъ, какъ необходимой принадлежности праздниковъ; когда меценаты поступали съ поэтомъ какъ съ шутомъ, награждая его, въ лицѣ Тредьяковскаго, сотнею рублей за подготовленный восторгъ и сотнею палокъ за просрочку заказанной оды? Удивительно ли, что въ стихахъ Ломоносова, писанныхъ болѣе для-того, чтобъ угодить патрону Шувалову, не было ничего, кромѣ искусственнаго реторизма, и удивительно ли что современники увидѣли въ немъ *россійскаго Пиндара*, совмѣстившаго въ себѣ всѣхъ поэтовъ Греціи?

Впрочемъ, у Ломоносова находимъ что-то похожее не на поэзію, чего и не должно требовать отъ него, но на нѣкоторое одушевленіе, когда онъ, слѣдуя своему учоному призванію, беретъ содержаніе стиховъ изъ науки, или когда предметъ стихотворенія сильно шевелитъ

его сердце, полное любви къ престолу. Въ этомъ отношеніи лучшія его произведенія: *Письмо о пользѣ стекла*, хотя чуждое поэзіи, но довольно-остроумное и веселое, и ода *На восшествіе на престолъ императрицы Екатерины II*, гдѣ видѣнъ не одинъ *пермесскій жаръ*, но и благоговѣніе къ государынѣ, обѣщавшей новую жизнь народу. Эта ода—рѣшительно лучшее произведеніе Ломоносова, единственная изъ его стихотворныхъ піесъ, мѣстами оживленная истиннымъ чувствомъ. Вотъ какъ привѣтствовалъ онъ будущую великую монархиню:

О коль монархъ благополученъ,
Кто знаетъ Россами владѣть!
Онъ будетъ въ свѣтѣ славой звученъ
И всѣхъ сердца въ рукѣ имѣть.
Тебя толь счастливу считаемъ,
Богиня, въ коей признаваемъ
Въ единой всѣ доброты вдругъ,
Щедроты, вѣру, справедливость,
И съ постоянствомъ прозорливость,
И истинной геройской духъ.

Услышьте, судіи земные
И всѣ державныя главы:
Отъ буйности блюдитесь вы,
И подданныхъ не презирайте;
Но ихъ пороки исправляйте
Ученьемъ, милостью, трудомъ.
Вмѣстите съ правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То Богъ благословитъ вашъ домъ.

О коль велико, какъ прославятъ
Монарха вѣрные рабы!
О коль опасно, какъ оставятъ
Отъ тѣсноты своей въ скорби!

Но и въ этой одѣ истинное одушевленіе смѣшано съ реторическимъ пустословіемъ, и мелькаетъ какъ цвѣтокъ въ тернахъ.

Ломоносова называютъ пѣвцомъ Елисаветы, и это несовсѣмъ несправедливо: въ одахъ его видно глубокое благоговѣніе къ императрицѣ, которую онъ воспѣваетъ, какъ богиню, покровительницу наукъ, какъ существо неземное, источникъ всего счастія и славы отечества. Съ глубокимъ благоговѣніемъ обращается онъ къ государынѣ:

Намѣстница всевышней власти,
Что родомъ, духомъ и лицемъ
Восходишь выше смертныхъ части,
Прехвальна, совершенна всѣмъ,
Въ которой всѣхъ даровъ изрядство,
Съ величествомъ цвѣтетъ пріятство;
Кому возможно описать
Твои доброты всѣ подробну?

И, проникнутый чувствомъ вѣрноподданническаго почтенія къ боготворимой монархинѣ, онъ куритъ ей ѳиміамъ глубоко-преданнаго сердца. Въ Надписи на иллюминацію 1747 года онъ восклицаетъ:

Какъ вѣчная гора стоитъ блаженство наше,
Крѣпчае мрамора, рубина много краше.

И твой, монархиня, престолъ благословенъ,
На нашей вѣрности недвижно утвержденъ.
Пусть мнимая другихъ свобода угнетаетъ,
Насъ рабство подъ твоей державой возвышаетъ.

Что̀ касается до эпическихъ и драматическихъ опытовъ Ломоносова, до его Петріадъ и Демофонтовъ, то они еще менѣе имѣютъ достоинства, чѣмъ его оды: въ нихъ нѣтъ ни характеровъ, ни страстей, ничего, кромѣ рабскаго подражанія и самаго тяжолаго классицизма.

Но если Ломоносовъ былъ только подражателемъ, если—какъ справедливо замѣтилъ Пушкинъ—«вліяніе его на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается», то почему же онъ пользуется у насъ великимъ авторитетомъ, какъ поэтъ, и достоинъ ли памятника, которымъ почтила его Россія? Достоинъ, безъ-сомнѣнія. Хотя мы не видимъ въ немъ болѣе «орла, ширяющагося въ облакахъ»—какъ говорилъ Мерзляковъ,—хотя онъ повредилъ нашей поэзіи, давъ ей ложное направленіе, — однако имя его безсмертно: онъ оказалъ великую услугу, создавъ языкъ и стихъ для русской поэзіи. Не должна ли оставаться незабвенною память того, кто, послѣ силлабическихъ, тяжолыхъ стиховъ Симеона Полоцкаго и Сильвестра Медвѣдева, заговорилъ такимъ языкомъ:

Кто море удержалъ брегами
И безднѣ положилъ предѣлъ,
И ей свирѣпыми волнами
Стремиться далѣ не велѣлъ?
Покрытую пучину мглою,
Не Я ли сильною рукою
Открылъ и разогналъ туманъ,
И съ суши сдвинулъ океанъ?

Первымъ произведеніемъ Кантемира была сатира *На хулящихъ ученіе*. Благородныя идеи, вѣрный взглядъ на русскую жизнь и общество, яркія картины современныхъ нравовъ и обычаевъ,—все даетъ Кантемиру великое значеніе въ исторіи новой русской поэзіи, хотя въ формѣ его сатиръ не было ничего самобытнаго, какъ и въ одахъ Ломоносова.

Будучи свидѣтелемъ первыхъ послѣдствій великаго переворота, произведеннаго Петромъ, сознавая всю важность идеи мудраго преобразователя, Кантемиръ не могъ не видѣть всей чорной стороны старой Руси,—а потому ея общество должно было представляться ему въ печальномъ видѣ. Дѣйствительно, онъ изображаетъ старую жизнь, которая въ его время существовала еще въ большинствѣ, такими чорными красками, что невольное негодованіе овладѣваетъ душою при взглядѣ на страшныя картины грубости. Да и могъ ли Кантемиръ найти другія черты въ этомъ обществѣ, только-что потрясенномъ отъ вѣкового усыпленія,

среди этой тьмы, не проникнутой еще лучами прочнаго и постояннаго образованія? Удивительно ли, что краски его черны, картины, въ которыхъ онъ изображаетъ старую жизнь, грязны своимъ цинизмомъ? Вотъ какъ представляетъ онъ до-петровскую Русь:

Прибылъ я въ городъ вашъ въ день нѣкій, знаменитый;
Пришедъ къ воротамъ, нашелъ, что спитъ какъ убитый
Мужикъ съ ружьемъ, который, какъ потомъ провѣдалъ,
Поставленъ былъ входъ стеречь; еще не обѣдалъ
Тогда народъ, и солнце полкруга небесна
Не пробѣгло, а почти ужъ улица тѣсна
Была отъ лежащихъ тѣлъ. Узрѣвъ то разъ первой,
Чаялъ, что моръ у васъ былъ, да не пахло стервой;
И видѣлъ, что прочіе тѣхъ не отбѣгали
Тѣлъ люди, и многіе изъ нихъ подымали
Руки, имы головы тяжки и румяны;
Не давала слабость ногъ встать; словомъ, всѣ пьяны....
Пьяны тѣ, кои лежатъ, прочи не трезвѣе,
Не обильнѣе умомъ, ногами сильнѣе.
. . . . . .
Пѣсни безстыдны и шумъ повсюду безстройный,
Что и глухаго ушамъ были-бъ безпокойны:
Словомъ, крайній тамъ мятежъ, безчинство ужасно....

Проникнутый такимъ презрѣніемъ и негодованіемъ къ старой жизни, глубоко любя образованіе и науки, могъ ли Кантемиръ не вооружиться на тѣхъ людей, которые, не понимая идеи Петра, препятствовали ходу образованія? А такихъ людей было въ то время много. Они существовали во всѣхъ классахъ: и въ аристократіи, оскорбленной возвышеніемъ заслу-

ги и таланта надъ старыми титлами, и въ чиновномъ быту, раздражонномъ появленіемъ новыхъ идей, пагубныхъ старому крючкотворству и безсовѣстному неправосудію. Кантемиръ обратилъ бичъ сатиры на этихъ ненавистниковъ просвѣщенія, не хотѣвшихъ понять мудрости дѣйствій правительства, и преслѣдовалъ ихъ со всею силою ума, со всѣмъ негодованіемъ оскорбленной добродѣтели, со всею ѣдкостію насмѣшки и презрѣнія. Рисуя яркими красками современное общество, онъ представляетъ и ханжу, ложно понимавшаго благочестіе, и дворянина, напитаннаго спѣсью и гордостію, и чиновника, привыкшаго къ ябедѣ и взяткамъ. Всѣ эти типы схвачены Кантемиромъ съ удивительной вѣрностью и безпристрастіемъ. Прежде всего онъ нападаетъ на ханжей, которые гнали новую жизнь, подъ видомъ ревности къ религіи, и хотѣли увѣрить, что преобразованія, начатыя Петромъ, ведутъ къ разврату и невѣрію...

Критонъ съ четками въ рукахъ ворчитъ и вздыхаетъ,
И проситъ, свята душа, съ горькими слезами,
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами:
Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны
Праотческимъ шли слѣдомъ, къ божіей проворны
Службѣ, съ страхомъ слушая, что̀ сами не знали,
Теперь къ церкви соблазну Библію честь стали,
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
Мало вѣры полаи священному чину;

Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не знаютъ,
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишну чаютъ,
Шепча, что тѣмъ, что мірской жизни ужъ отстали,
Помѣстья и вотчины весьма не пристали.

Это, однако же, не оскорбляло истинно-образованныхъ пастырей, понимавшихъ пользу просвѣщенія и сочувствовавшихъ правительству. Ѳеофанъ, архіепископъ новгородскій, которому попалась сатира, былъ такъ восхищонъ ею, что написалъ автору посланіе, гдѣ говоритъ:

Перомъ смѣлымъ мещи порокъ явный
На нелюбящихъ ученой дружины,
И разрушай всякъ обычай злонравный,
Желая доброй въ людяхъ перемѣны.

Съ такимъ же жаромъ преслѣдуетъ сатирикъ дворянъ, порицавшихъ науку, потому-что не видѣли въ ней матеріяльныхъ выгодъ:

Сильванъ другую вину наукамъ находитъ:
Ученіе, говоритъ, намъ голодъ наводитъ;
Живали мы прежъ сего не зная Латынѣ
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ,
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
Перенявъ чужой языкъ свой хлѣбъ потеряли.
Буде рѣчь моя слаба, буде нѣтъ въ ней чину,
Ни связи, должно ль о томъ тужить дворянину?
Землю въ четверти дѣлить безъ Эвклида смыслимъ,
Сколько копѣекъ въ рублѣ безъ алгебры счислимъ.

Приказные, съ ихъ корыстолюбіемъ и невѣжествомъ, также обратили вниманіе Кантемира, какъ осадокъ стараго варварства и не-

правосудія, и онъ нападаетъ на нихъ такъ же энергически:

Хочешь ли судьею стать? — вздѣнь парикъ съ узлами,
Брани того, кто проситъ съ пустыми руками;
Твердо сердце бѣдныхъ пусть слезы презираетъ;
Спи на стулѣ, когда дьякъ выписку читаетъ.
Коли-жъ кто вспомнитъ тебѣ гражданскіи уставы,
Иль естественный законъ, иль народны нравы, —
Плюнь ему въ рожу!

Вотъ съ какимъ благороднымъ негодованіемъ преслѣдуетъ Кантемиръ поборниковъ старыхъ предразсудковъ и враговъ просвѣщенія. Неумолимо караетъ онъ ихъ на каждомъ шагу, рисуя современные ему типы глупости и невѣжества самыми яркими красками, но никогда не увлекаясь, никогда не отдаляясь отъ истины. Особенно ненавидитъ онъ старое барство, несовсѣмъ забывшее мѣстничество и съ неудовольствіемъ смотрѣвшее на то, какъ талантъ и заслуга начинали находить покровительство у государей. Рѣзко описываетъ онъ гордость и спѣсь до-петровскаго барства, его широкую замашку къ азіятской лѣни, его презрѣніе къ низшимъ классамъ общества. Вотъ какъ осмѣиваетъ сатирикъ одного изъ людей этого круга:

Мнитъ онъ, что вещество то, чрезъ плоть сиу дало,
Было не такое же, не нѣчто сіяло.
Предъ прочими, и была то фарфорова глина
Съ чего онъ, а съ чего мы — навозная тина.

И, говоря, что не происхожденіемъ, а заслугами должны мы гордиться предъ обществомъ, прибавляетъ:

Адамъ дворянъ не родилъ, но одному сыну
Жребій былъ копать садъ, пасть другому скотину;
Ной въ ковчегѣ спасъ все себѣ равныхъ
Простыхъ земледѣлей, нравами лишь славныхъ:
Отъ нихъ мы произошли, одинъ пораньѣ
Оставя дудку, соху, другой попозднѣе.

Сверхъ того у Кантемира, подъ вымышленными именами Хирона, Ксенона, Менандра встрѣчаемъ современныя ему лица, которыхъ онъ не любилъ и преслѣдовалъ своею сатирою. Лица эти немудрено узнать, потому-что авторъ вездѣ вѣренъ и безпристрастенъ, и рисуетъ портреты тогдашнихъ временщиковъ безъ всякаго преувеличенія [8].

Такимъ образомъ, въ сатирѣ Кантемира отозвался голосъ негодованія молодого поколѣнія, стремящагося къ образованію, на противодѣйствіе, встрѣченное въ поборникахъ стараго времени,—и ей суждено играть долго важнѣйшую роль въ нашей поэзіи. Въ ней видны уже зародыши тѣхъ идей, которыя въ-послѣдствіи должны были высказаться яснѣе. Кантемиръ взялъ ихъ изъ среды самаго общества, коснулся важнѣйшихъ его интересовъ, тронулъ самыя чувствительныя его струны, и съ этой стороны онъ писатель совершенно-народный.

Но этого нельзя сказать о формѣ его сатиръ. Изучая писателей греческихъ, римскихъ и французскихъ, онъ сроднился съ тѣми, которые близки были къ его сатирическому уму, и взялъ форму для своихъ произведеній у Горація, Ювенала, Персія и Буало. Восхищаясь своими любимцами, онъ часто бралъ у нихъ цѣлые отрывки, но никогда не былъ слѣпымъ подражателемъ, и самыя заимствованія умѣлъ облекать въ русскіе образы и принаровлять къ русской жизни [9]. Что̀ касается до языка Кантемира, то онъ мало подвинулся впередъ отъ языка Симеона Полоцкаго и отличается только тѣмъ, что болѣе очищенъ отъ польскихъ оборотовъ и школьныхъ выраженій.

Изъ этого очерка видно значеніе Ломоносова и Кантемира въ нашей поэзіи. Оба они были неизбѣжнымъ слѣдствіемъ петровской реформы, необходимымъ явленіемъ, возникшимъ изъ стихій новой жизни. Одинъ положилъ начало подражательному реторизму, другой самобытной сатирѣ; одинъ черпалъ содержаніе для своихъ произведеній изъ заготовленнаго энтузіазма, другой изъ глубокаго негодованія; заслуга одного неоспорима относительно внѣшней обработки поэтическаго языка, явленіе другого важно по идеѣ и внутреннему содержанію его поэзіи. Здѣсь съ перваго взгляда понятно преимущество Кантемира. Ломо-

носовъ, открывъ нашей поэзіи ложный путь реторическаго подражанія, не отличаясь по идеямъ въ своихъ одахъ, поэмахъ и трагедіяхъ отъ похвальныхъ стиховъ Сильвестра Медвѣдева и драмъ Симеона Полоцкаго, оказалъ услугу въ одномъ только преобразованіи поэтическаго языка, тѣмъ болѣе, что попытка на измѣненіе стихосложенія сдѣлана еще прежде него Тредьяковскимъ, который не умѣлъ только подкрѣпить свою теорію образцами. Кантемиръ, при всемъ томъ, что не былъ поэтомъ и даже не разгадалъ тайны русскаго стихосложенія, имѣетъ обширнѣйшее значеніе, какъ писатель, который первый подалъ голосъ въ пользу образованія и вооружился на невѣжество, первый былъ проявителемъ идеи, которая развивается донынѣ въ нашей поэзіи и имѣетъ великихъ представителей.

---

Реформа Петра совершилась во время чрезвычайно-неблагопріятное для поэзіи. Во всей Европѣ господствовалъ тогда ложный классицизмъ, распространенный особенно Французами. Думая, что творчество состоитъ въ слѣпомъ подражаніи Грекамъ и Римлянамъ, не понимая, что древняя поэзія, какъ живое выраженіе духа до-христіянскихъ вѣковъ, никакъ не могла служить образцомъ въ то время, ко-

гда общество жило совершенно-иною жизнію,— классики придумали уродливую теорію и замѣнили произвольными правилами тѣ вѣчные законы природы, которые одни только служатъ источникомъ творчества. Они не знали, что эти законы никогда неизмѣнны, и хотѣли, подобно Навину, остановить солнце, не постигая, что искусство, какъ солнце, никогда неостанавливается, или, лучше сказать, люди вѣчно движутся около этого незыблемаго солнца. Въ силу такой теоріи всякое отступленіе отъ установленныхъ формъ поэзіи считалось въ глазахъ классиковъ уголовнымъ преступленіемъ,—и скоро Шекспиры и Данты, знаменитые у своихъ соотечественниковъ, приведены были предъ невѣжественный судъ классицизма и объявлены нарушителями искусства.

Понятно, что, при такомъ состояніи европейской поэзіи, русская не могла не подчиниться ему, тѣмъ болѣе, что самобытной жизни у насъ еще не было и долго не могло быть. И вотъ большинство писателей, подчиняясь ложному направленію европейской литературы, провозгласило Ломоносова *россійскимъ Пиндаромъ*, и устремилось вслѣдъ за нимъ на Геликонъ упиваться *кастальской водою* и бесѣдовать *съ Аполлономъ и девятью сестрами*. Достигнувъ, по мнѣнію ихъ, этого блаженнаго жилища, одописцы

Составили изъ лиръ небесну гармонію
И пѣли благодать, вѣнчающу Россію.

Не проходило ни одного праздника и побѣды, нельзя было пустить ракеты и выставить плошки безъ того, чтобъ не появлялись десятки одъ, изукрашенныхъ поддѣльными цвѣтами реторики. Тредьяковскій, Сумароковъ, Петровъ, Херасковъ, Княжнинъ подвизались на этомъ поприщѣ,—и современники, раздѣляя общія мнѣнія своего вѣка, признали безпрекословно Ломоносова *россійскимъ Пиндаромъ* и щедро надѣляли другихъ одописцевъ титулами *россійскихъ Горацієвъ и Анакреоновъ*.

Ломоносовъ пытался своимъ *Демофонтомъ* и *Тамирою и Селимомъ* проложить дорогу и въ драматической поэзіи, но его піесы были такъ неизящны и тяжелы, что даже самые поклонники не осмѣлились назвать его геніяльнымъ драматургомъ. Мѣсто Корнеля и Расина оставалось вакантнымъ на нашемъ Геликонѣ, и его не замедлилъ занять Сумароковъ, выступя на сцену съ трагедіями, написанными въ подражаніе Расину и Вольтеру. Онъ былъ принятъ съ рукоплесканіями. Публика образованная, знакомая съ литературой французскою, находя Британиковъ, Эдиповъ, Заиръ, Роксанъ подъ именами Хоревовъ, Синавовъ, Оснельдъ и Ксеній, встрѣчая тѣхъ же наперсниковъ и наперсницъ,

вѣстниковъ и героевъ, которыхъ видѣла во французскихъ трагедіяхъ, и не думала усомниться въ существованіи подобныхъ куколъ; а для класса не посвященнаго, не знавшаго до тѣхъ поръ ничего, кромѣ медвѣжьей травли, произведенія Сумарокова были удивительною новостью. Немудрено, что Русскіе были въ восторгѣ отъ этихъ трагедій и провозгласили его своимъ *Расиномъ и Вольтеромъ*.

Лучшая, или, вѣрнѣе сказать, менѣе нелѣпая піеса Сумарокова, *Хоревъ*, собиравшая ему нѣкогда дани рукоплесканій, уродлива во всѣхъ отношеніяхъ. Въ ней нетолько не видно Россіи и русскихъ князей, но даже нѣтъ ни одного человѣческаго лица: Оснельда и ея *возлюбленнѣйшій зракъ* Хоревъ, Кій и его подданные—похожи на какихъ-то куколъ, дурно движимыхъ неискусной рукою, которыя бѣснуются, плачутъ, шумятъ, говорятъ фигурнымъ языкомъ, закалываются и умираютъ неизвѣстно почему и для чего.

Послѣдователемъ Сумарокова въ трагедіяхъ явился Княжнинъ, но какъ авторъ Хорева предупредилъ его въ качествѣ трагика, то онъ обратился къ комедіи, и получилъ титулъ *россійскаго Мольера*. Особенною знаменитостію пользовались двѣ его комедіи, *Чудаки* и *Хвастунъ*,—и послѣдняя, дѣйствительно, несовсѣмъ лишена интереса. Содержаніе ея довольно за-

нимательно. Мелкій плутъ-дворянинъ, подлый и низкій, гордый и расточительный, выдаетъ себя за знатнаго вельможу, — пользуясь легковѣріемъ глупцовъ, увѣряетъ ихъ въ своей важности у двора, въ могущественномъ вліяніи на правительство, и хочетъ жениться на богатой дѣвушкѣ, чтобъ составить себѣ карьеру и спастись отъ тюрьмы, угрожающей ему за долги... Прочія піесы Княжнина не заслуживаютъ упоминанія. Всѣ эти Заиры, Милены, Извѣды, Миловзоры, Любимы нетолько не похожи на Русскихъ, но въ нихъ нѣтъ совершенно-никакой жизни.

Итакъ, черезъ полвѣка послѣ сближенія нашего съ европейскою ложно-классической поэзіею, мы имѣли своихъ *Пиндаровъ*, *Горацієвъ*, *Расиновъ и Мольеровъ*; не доставало эпиковъ для полнаго укомплектованія парнасскаго штата. Правда, Тредьяковскій написалъ Тилемахиду, а Ломоносовъ началъ поэму, въ которой воспѣвалъ Петра; но одна была слишкомъ безобразна, а другая остановилась на двухъ пѣсняхъ. Обязанность пополнить этотъ недостатокъ и совмѣстить Гомера и Виргилія принялъ на себя Херасковъ. Современники особенно восхищались двумя его поэмами, *Россіядою* и *Владиміромъ*. Что же это были за поэмы?

Въ Россіядѣ воспѣвается покореніе Казани,

и герой ея—Іоаннъ Грозный. Она написана по всѣмъ правиламъ классической теоріи, начинается вступленіемъ и обращеніемъ *къ стихотворному духу*, раздѣлена законнымъ образомъ на пѣсни, наполнена чудесами, въ которыхъ авторъ превзошолъ и Гомера, и Виргилія, и Тасса. Тутъ, вмѣстѣ съ христіянскими святыми, являются языческіе боги, вмѣстѣ съ Аполлономъ и греческими нимфами — Магометъ и его гуріи, вмѣстѣ съ монахами—колдуны, превосходящіе самого Исмена. У Гомера, Виргилія и Данта изображонъ адъ, — и Херасковъ описываетъ вмѣсто того рай, куда ведетъ своего героя, Іоанна, со старцемъ Вассіаномъ, и, открывъ ему книгу судебъ, показываетъ будущее потомство до императора Павла I. Вы знаете, что у Гомера и Виргилія есть кораблекрушеніе, и жалѣете, что лишены будете этого зрѣлища въ Россіадѣ за неимѣніемъ моря, но вы ошибетесь: піитъ описываетъ кораблекрушеніе на Волгѣ, передъ которымъ одиссеево и энеево не значатъ ничего. Вы видите, какъ

Ревущія струи, поднявъ верхи свои,
Возносятъ къ облакамъ великія ладьи;
И вдругъ разсыпавшись, во рвы ихъ низвергаютъ,
Гдѣ кажется они геенны досягаютъ.

Словомъ, вся поэма есть ничто-иное какъ жалкое подражаніе Освобожденному Іеруса-

лиму, съ примѣсью Одиссеи, Энеиды, Божественной Комедіи и Генріады. Изъ всего этого Херасковъ составилъ такое tutti frutti, которое ни съ чѣмъ не сравнится по оригинальности безсмыслицы!...

Другая поэма Хераскова еще огромнѣе и такъ же нелѣпа, какъ первая.

Но въ то время, какъ творцу Россіяды и Владиміра сулили безсмертіе, явилось сочиненіе, которое невольно служило пародіею на его тяжолыя поэмы. Это была *Душенька* Богдановича, передѣланная изъ лафонтеновой повѣсти Les Amours de Psyché. Несмотря на отсутствіе народнаго духа, натянутое и напудренное содержаніе, эта піеса была пріятнымъ явленіемъ, показавъ въ первый разъ образецъ легкой стихотворной повѣсти, написанной живымъ и непринужденнымъ языкомъ.

Между тѣмъ, когда реторическая школа, основанная Ломоносовымъ, шла по пути ложнаго классицизма, сатирическое направленіе продолжало свое самобытное развитіе. Послѣ Кантемира представителемъ сатиры явился Сумароковъ, человѣкъ, какъ видѣли, чуждый поэтическаго таланта и воспитанный подъ гибельнымъ вліяніемъ ложной теоріи, но умный и даровитый. Увлекаясь энциклопедическимъ духомъ вѣка и желаніемъ подражать Вольтеру, онъ хотѣлъ писать во всѣхъ родахъ, но

изъ десятка томовъ его сочиненій заслуживаютъ вниманіе только сатиры и нѣкоторыя эпистолы. Хотя въ нихъ вмѣсто поэзіи видѣнъ одинъ холодный умъ, а въ формѣ нѣтъ ничего самобытнаго, однако отношеніе ихъ къ русскому обществу и сочувствіе къ его интересамъ даютъ имъ мѣсто рядомъ съ сатирами Кантемира.

Сумароковъ сражается въ нихъ съ тѣми же остатками стараго, до-петровскаго общества, которымъ «вредительная тьма разума пріятна была и полезный свѣтъ тягостенъ казался.» Сознавая великія идеи мудраго преобразователя, понимая, что «въ перемѣнѣ одѣянія и бритьи бородъ не было бы Петру Великому нималѣйшія нужды, ежели бы старинное платье не покрывало стариннаго упрямства, а борода въ подлыхъ головахъ не умножала гордости», — онъ нападаетъ смѣло и благородно на старые предразсудки, невѣжество и подлости. Его сатиры показываютъ умнаго человѣка, который любитъ истину, уважаетъ человѣческое достоинство, негодуетъ на пороки и недостатки общества. Въ стихотвореніи *Піитъ и его другъ* онъ говоритъ:

Гдѣ я ни буду жить, въ Москвѣ, въ лѣсу иль полѣ,
Богатъ или убогъ, терпѣть не буду болѣ
Безъ обличенія презрительныхъ вещей.

Покорный этому обѣту, Сумароковъ выводитъ на позорище общественные недуги, не исцѣленные еще благодѣтельнымъ елеемъ европейской жизни. Въ его сатирахъ является и закоснѣлое ханжество, видѣвшее безнравственность въ новыхъ, чуждыхъ для него нравахъ, — и невѣжество, упорно гнавшее науку и просвѣщеніе, — и неправосудіе, привыкшее къ лицепріятію и мздоимству. Подобно Кантемиру, онъ представляетъ типъ невѣжды-дворянина, врага образованія:

Невѣжда говоритъ: я помню чей я внукъ;
По-дѣдовски живу, не надобно наукъ:
Пускай убытчатся уча ребятокъ моты,
Мой мальчикъ не ученъ, а въ тѣ жъ пойдетъ вороты.
На что мнѣ, чтобы знать чужихъ народовъ нравы,
Или вперятися въ чужіе языки?
Какъ будто безъ того ужъ мы и дураки!

Подобно Кантемиру, нападаетъ онъ на неправедныхъ служителей закона и преслѣдуетъ ихъ корыстолюбіе и продажность. Въ сатирѣ *О худыхъ судьяхъ* онъ говоритъ:

На то ли обществу имѣть судей злочинныхъ,
Дабы законами губити имъ невинныхъ?
Я взяткамъ предпочту бездѣльникову кражу:
Ему не ввѣрило отечество суда,
И честныхъ онъ людей не судитъ никогда.

Но болѣе всего гонитъ Сумароковъ пороки стариннаго боярства. Прославляя тѣхъ вельможъ, которые услугами отечеству стяжали

всеобщее уваженіе и славу, описывая подвиги Румянцовыхъ, Еропкиныхъ, Голицыныхъ и Паниныхъ,—онъ преслѣдуетъ тунеядцевъ, гордыхъ только наслѣдственными титулами и богатствомъ, утопавшихъ въ праздности и роскоши. Вотъ какъ нападаетъ онъ на этихъ вредныхъ членовъ общества:

Ты честью хвалишься, котора не твоя:
Будь пращуръ мой Катонъ, но то Катонъ, не я.
На-что о прадѣдахъ такъ много ты хлопочешь
И спесью дуешься?—будь правнукъ ты чей хочешь:
Родитель твой былъ Пирръ и Ахиллесъ твой дѣдъ,
Но если ихъ кровей въ тебѣ и знака нѣтъ,
Какова ты осла почтить себя заставишь!

Въ другой сатирѣ онъ говоритъ:

На то ль дворяне мы, чтобъ люди работали,
А мы бы ихъ труды по знатности глотали?
Мужикъ и пьетъ и ѣстъ, родился и умретъ,
Господскій также сынъ, хотя и слаще жретъ,
И благородіе свое нерѣдко славитъ,
Что цѣлый полкъ людей на карту онъ поставитъ:
Ахъ! должно ли людьми скотинѣ обладать?

Преслѣдуя съ такимъ негодованіемъ старое барство, Сумароковъ еще съ бо́льшею энергіею караетъ низкопоклонниковъ и льстецовъ. Говоря, что любовь къ отечеству должна быть первою добродѣтелью всякаго человѣка, отъ царя до послѣдняго подданнаго, онъ ненавидитъ тѣхъ подлыхъ эгоистовъ, которые, вмѣсто слу-

женія общественному благу, заботились только о личныхъ выгодахъ и безчестномъ прибыткѣ...

Льстецъ мыслитъ никогда, что онъ безмѣрно гнусенъ,
Онъ мыслитъ то, что онъ какъ жить съ людьми искусенъ:
Коль нужда въ комарѣ, зоветъ его слономъ;
Когда къ боярину придетъ съ поклономъ въ домъ,
Сертитъ предъ мухою боярской безъ препоны,
И отъ жены своей ей дѣлаетъ поклоны.....
Льстецы не обществу работать осужденны,
О пользѣ не ево пекутся, о своей,
Не сынъ отечества ласкатель, но злодѣй!

Вотъ сатира Сумарокова! Несмотря на отсутствіе поэзіи, въ ней нельзя не видѣть смѣлаго ума и благороднаго чувства. Ложно-классическое направленіе, погубивъ другія сочиненія Сумарокова, отразилось и въ самыхъ его сатирахъ; но отношеніе къ жизни и общественнымъ интересамъ должны спасти ихъ отъ забвенія. По этимъ сатирамъ Сумароковъ занимаетъ почотное мѣсто въ исторіи нашей поэзіи, какъ послѣдователь идей Кантемира, какъ даровитый писатель, смѣло и благородно сражавшійся съ невѣжествомъ и порокомъ, которые по вѣковой закоренѣлости не переставали отравлять своимъ ядовитымъ дыханіемъ тотъ воздухъ чистой жизни, которымъ мы начинали дышать со временъ Петра Великаго.

---

## II.

## ДЕРЖАВИНЪ И ФОНВИЗИНЪ.

—

Петру I Екатерина II сочувствовала во всѣхъ идеяхъ. При ней сѣмена образованія и гражданственности, посѣянныя преобразователемъ, пустили благотворные отпрыски, обѣщавшіе принести обильные плоды. То, что́ при Петрѣ понимаемо было еще немногими, при Екатеринѣ начало проникать въ различные слои общества. Благодѣтельныя учрежденія монархини, страстно любившей Русскій народъ, ея заботы о распространеніи просвѣщенія, объ истребленіи старыхъ предразсудковъ и невѣжества, ея жажда къ правосудію и гражданской свободѣ, покровительство наукамъ и поэзіи, — все справедливо должно дать ей мѣсто подлѣ Петра, какъ продолжательницѣ его великой идеи. Но реформа Петра, призывъ въ Россію множества иностранцевъ при его преемникахъ и мѣры Екатерины для образованія народа, произведя благодѣтельныя слѣдствія, должны были повлечь за собою и крайности, неизбѣжныя при всякомъ крутомъ переломѣ. Съ од-

ной стороны, какъ мы уже видѣли, явилась оппозиція невѣжества, не умѣвшаго сознать всей великости идей Петра и въ-послѣдствіи не оцѣнившаго и благодѣтельныхъ намѣреній Екатерины; съ другой—пылкое стремленіе къ сближенію съ иностранцами, быстро возникнувъ послѣ вѣкового отчужденія и сдѣлавшись модою, произвело людей, ложно понявшихъ европейскую цивилизацію и усвоившихъ то обезьянство, которое вредило истинному просвѣщенію неменѣе упорной приверженности къ старинѣ. Общество было самое пестрое. Въ первомъ ряду стояла партія, въ главѣ которой была сама императрица, партія людей, цѣнившихъ всю пользу сближенія съ Европою, всѣ плоды науки и западной цивилизаціи, стремившихся усвоить ихъ Россіи и подавить старые пагубные предразсудки; за нею слѣдовала толпа, которая, желая подражать людямъ образованнымъ, не понимала между-тѣмъ истиннаго образованія и, принимая сближеніе съ западомъ за одну обезьянскую переимчивость наружныхъ формъ парижской жизни, отказалась отъ всего, что̀ должно быть священно для человѣка, и предалась роскоши и разврату; наконецъ старая фаланга закоснѣлыхъ враговъ просвѣщенія, преданная *очами, помышленіями и всѣми чувствы* старинѣ, и подкрѣпляемая въ своемъ упорствѣ дурными при-

мѣрами ложно-понятой цивилизаціи, оставала свое азіятское невѣжество. Вотъ какую пестроту должно было представлять общество, — и такое явленіе было совершенно-неизбѣжно. Борьба европеизма съ татарщиной кипѣла во всей силѣ, высокое вездѣ сталкивалось съ шутовскимъ и низкимъ. Съ одной стороны блескъ побѣдъ и славы, стремленіе къ просвѣщенію и цивилизаціи изумляли Европу, и Вольтеръ привѣтствовалъ изъ глубины своего уединенія мудрую сочинительницу Наказа; съ другой — невѣжество и старые предразсудки ясно говорили о временахъ темнаго варварства, а ябеда и ханжество поражали своимъ закоснѣлымъ упорствомъ. Здѣсь императрица заводила безпрестанно учебныя заведенія, открывала свободныя типографіи, покровительствовала поэтамъ, сама писала и издавала журналы; тамъ старое барство смотрѣло косо на науку, приглашало на обѣды Фонвизина для-того, чтобъ посмотрѣть, какъ онъ передразнивалъ піиту Сумарокова, и гнало Державина, какъ человѣка безпокойнаго и неспособнаго къ дѣламъ. Рядомъ съ героями и великими людьми являлись шуты и невѣжды.

Вся эта пестрота и оригинальность тогдашняго общества, всѣ эти противорѣчія въ нравахъ, не коснувшись нимало школы риторовъ, провозглашавшихъ себя *Гомерами и Пиндарами*,

отразилось на истинныхъ представителяхъ екатеринина вѣка, Державинѣ и Фонвизинѣ. Оба они могли явиться только во время Екатерины, и только ей обязаны были тѣмъ, что высказали вполнѣ свои идеи.

Державинъ воспиталъ себя на Ломоносовѣ. Въ первые годы своей поэтической дѣятельности онъ подражалъ ему безусловно, и хотя въ-послѣдствіи пошолъ по новому пути, но никогда не могъ освободиться отъ вліянія своего учителя, и въ концѣ жизни опять совершенно подчинился ему. Одаренный необыкновеннымъ талантомъ, могучей поэтической душою, онъ могъ бы завѣщать потомству геніяльныя созданія и дать иную жизнь нашей поэзіи. Но судьба судила иначе...

Въ Европѣ совершался тогда великій переворотъ. Міръ, готовясь къ перерожденію, отживалъ свою старую жизнь, и общественное зданіе колебалось, готовое рухнуть. Философія потрясала его своими мощными софизмами, энциклопедисты подкапывались подъ самыя сокровенныя его основы. Между-тѣмъ французское высшее общество шумно доканчивало въ немъ свою оргію, не заботясь ни о чемъ, кромѣ наслажденій, и утопало въ самой изысканной чувственности, при звонѣ бокаловъ и пѣсенъ.

Въ Россіи образованность сосредоточивалась

въ высшемъ классѣ, который старался подражать во всемъ французской аристократіи, а потому современное броженіе европейскихъ умовъ должно было отразиться на немъ, хотя безсознательно и смутно. Такъ и случилось. Блестящая, полная упоеній и роскоши, жизнь французской аристократіи, привилась къ нашему высшему обществу и, смѣшавшись съ остатками азіятской лѣни и чувственности, проявилась еще въ бо́льшихъ размѣрахъ, нежели во Франціи. Самыя идеи новой философіи проникли въ него, хотя и понимались поверхностно и превратно.

Все это не могло не отразиться на Державинѣ...

Многія изъ нравственныхъ одъ его похожи не на гимны, выражающіе глубокое благоговѣніе сердца, проникнутаго восторгомъ и умиленіемъ, но на отвлеченныя доказательства разныхъ истинъ, выраженныя въ поэтической формѣ. Всѣ онѣ проистекаютъ нестолько изъ сердца, одушевленнаго любовью, сколько изъ ума, поражоннаго сомнѣніемъ,—менѣе выражаютъ истинное вдохновеніе, чѣмъ усилія доказать истину. Въ нихъ нѣтъ теплоты, согрѣвающей сердце, а замѣтны только усилія представить твердые доводы для подкрѣпленія убѣжденій, которыя колебались въ то разрушительное время. Стоитъ сравнить *Гимнъ*

*Богу* съ *Гимномъ солнцу*, чтобъ увѣриться въ происхожденіи духовной поэзіи Державина. Въ томъ и другомъ видны однѣ и тѣ же мысли и чувства, возникшія только изъ холоднаго размышленія. Нѣкоторые высоко цѣнятъ оду *Безсмертіе души* и считаютъ ее лучшимъ произведеніемъ Державина, но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться. Въ ней, какъ и въ другихъ подобныхъ его одахъ, видимъ нестолько чувство, вызванное изъ глубины души, сколько реторическія доказательства, несовсѣмъ удачно придуманныя, для подкрѣпленія истины, до очевидности несомнѣнной. Для насъ эта піеса не имѣетъ никакого значенія; да едва ли она могла быть важною и въ глазахъ современниковъ, когда Державинъ самъ иногда, по-видимому, противорѣчилъ высказаннымъ въ ней идеямъ. Какъ согласить съ доказательствами о вѣчной жизни души, съ мыслію, что

Безмертіе стихія наша,
Покой и верхъ желаній — Богъ,

тѣ сомнѣнія въ будущемъ, которыя онъ высказываетъ во многихъ своихъ сочиненіяхъ и между-прочимъ въ знаменитой одѣ *На смерть Мещерскаго*:

Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.
Гдѣ онъ? — онъ тамъ. — Гдѣ тамъ? — не знаемъ.
Мы только плачемъ и взываемъ:
О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

Итакъ, негодованіе на современную французскую философію заставило Державина увлечься въ такую сферу, которая предлагала обширное поле мыслителю, но не могла дать пищи поэту, не получившему прочнаго воспитанія. Потому лучшія изъ духовныхъ одъ его тѣ, которыхъ содержаніе заимствованное, какъ напримѣръ *Властителямъ и судіямъ*. Здѣсь видно уже чувство и могучій голосъ потрясенной души.

Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина не замѣтно истинной любви, а является одна сладострастная чувственность и жажда къ наслажденіямъ. Эти стихотворенія отличаются тою же реторическою изысканностію; въ нихъ нѣтъ ничего высказаннаго любящимъ сердцемъ, но все внушено холоднымъ умомъ, все—какъ справедливо замѣтилъ одинъ изъ нашихъ критиковъ—блеститъ, а не грѣетъ. Въ нихъ чувственность иногда доходитъ до цинизма, иногда превращается въ приторную чувствительность, близкую къ сантиментальности. Всѣ эти стихотворенія проникнуты идеею о скоротечности жизни, о непрочности земныхъ наслажденій, объ ужасахъ смерти, которая должна лишить человѣка всѣхъ жизненныхъ благъ,—всѣ онѣ служатъ варіаціями на одну тему:

Вкушать свѣтлите благи свѣта,
Теченье кратко нашихъ дней.

Но эта идея о непродолжительности земныхъ благъ, о неизбѣжности смерти, поражающей монарха и узника, сокрушающей звѣзды и солнцы, достигаетъ иногда у Державина удивительной высоты, особенно въ одѣ На смерть Мещерскаго.

Торжественныя оды Державина долго считались образцами высокой поэзіи, но теперь служатъ только примѣрами изысканной реторики. Онѣ принесли большую пользу тѣмъ, что, выразивъ реторическое направленіе въ послѣдней степени совершенства, нанесли ему сильный ударъ. Побѣды, изумившія Европу и прославившія русское оружіе въ царствованіе Екатерины Великой, послужили источникомъ для этихъ одъ; но ложное направленіе поэзіи было причиною, что онѣ потеряли всякое значеніе. Напыщенные возгласы, надутыя метафоры, безпрестанныя повторенія дѣлаютъ ихъ скучными до-крайности. Оды *На взятіе Измаила*, *На переходъ Альпійскихъ горъ*, *Водопадъ*, *На взятіе Варшавы*, *На возвращеніе графа Зубова изъ Персіи*, считавшіяся въ свое время чудомъ поэзіи, отличаются такими преувеличеніями, которыя совершенно уничтожаютъ и тѣ прекрасныя, истинно-высокія мѣста, гдѣ поэтъ, изображая природу, является великимъ

художникомъ. Въ нихъ нѣтъ ни вѣка, ни его представителей, несмотря на то, что этотъ вѣкъ былъ самою роскошною и оригинальною поэмою.

Видимъ ли мы въ торжественныхъ одахъ Державина тѣхъ исполиновъ великаго царствованія Екатерины, которые, кажется, только и жили для-того, чтобъ вдохновлять своими подвигами поэтовъ? находимъ ли тѣ дивные образы, которые являются намъ въ самыхъ изумительныхъ краскахъ, осѣненные блестящимъ ореоломъ славы? Гдѣ у него Орловы, Румянцовы, Суворовы, герои чуднаго вѣка побѣдъ и тріумфовъ? Одинъ только непостижимый любимецъ судьбы, Потемкинъ, изображонъ великолѣпно и поэтически въ Водопадѣ:

Театръ его былъ край Эвксина,
Сердца обязанныя — храмъ,
Рука съ вѣнкомъ — Екатерина,
Гремяща слава — ѳиміамъ,
Жизнь — жертвенникъ торжествъ и крови,
Гробница — ужаса, любови.

Но и этотъ очеркъ не полонъ, а въ описаніи смерти Потемкина много изысканнаго и реторическаго. Что̀ касается до Суворова, то, несмотря на то, что онъ *воспѣвается* во многихъ одахъ, мы ни въ одной не видимъ истиннаго его портрета, и только встрѣчаемъ преувеличенныя метафоры и фигуры, которыми

поэтъ хотѣлъ изобразить какого-то сказочнаго богатыря, представляя его подвиги баснословными нелѣпостями. Можно ли узнать Суворова въ такихъ возгласахъ:

Ступитъ на горы — горы трещатъ,
Ляжетъ на воды — воды кипятъ,
Граду коснется — градъ упадаетъ,
Башни рукою за облакъ кидаетъ.

Если странно видѣть, какъ Илья-Муромецъ, схвативъ за ноги Татарина, побиваетъ имъ непріятельское войско, то еще страннѣе встрѣчать такія олицетворенія и напыщенныя фразы въ описаніи человѣка, который изумилъ Европу своими побѣдами и странностями.

Всѣ прочія оды Державина на побѣды и торжества исполнены тѣми же самыми недостатками, и отличаются отъ подобныхъ ломоносовскихъ одъ только изрѣдка-мелькающими искрами поэзіи. Къ самымъ слабымъ піесамъ принадлежатъ тѣ, которыя написаны въ послѣдніе годы его жизни на разные случаи великихъ войнъ съ Французами. Въ нихъ поэтъ является конечно патріотомъ, но онъ никогда не могъ возвыситься надъ толпою и смотрѣть на Наполеона такъ, какъ смотрѣлъ Пушкинъ. Онъ видѣлъ въ немъ *антихриста* и *седьмиглаваго Люцифера*, а въ великой отечественной войнѣ находилъ одну побѣду

Царя Славянъ надъ Авадономъ.

Въ стихотвореніи *Атаману и войску донскому* онъ обѣщаетъ даже выдать крестницу, которую любилъ какъ дочь, за того, кто поймаетъ и приведетъ на арканѣ Наполеона. Зная тогдашнее направленіе умовъ, мы не должны строго осуждать Державина, но въ то же время не можемъ не сказать, что онъ раздѣлялъ всегда заблужденія толпы и не умѣлъ надъ нею возвыситься.

Такимъ образомъ, Державинъ въ духовныхъ, анакреонтическихъ и торжественныхъ одахъ является послѣдователемъ ломоносовской школы; но одаренный истинно-поэтическимъ талантомъ, далеко оставляетъ за собою предшественника. Реторизмъ Державина недосягаемо выше реторизма Ломоносова. Одинъ изъ нихъ былъ умнымъ, даровитымъ человѣкомъ, рожденнымъ для науки; другой созданъ великимъ поэтомъ, хотя и испорченъ недостаткомъ воспитанія и ложною теоріею. Оды Ломоносова напоены всѣ *водою стихотворства;* у Державина, посреди потопа реторической напыщенности, являются мѣста высоко-поэтическія. Въ изображеніяхъ природы ему часто удается вырваться изъ тяжолыхъ цѣпей классицизма, и тогда онъ рисуетъ картины поразительной вѣрности и красоты. Таковы у него описанія Кавказа, русской зимы и осени, деревенской пляски, хотя и здѣсь иногда мель-

каетъ реторизмъ, и русская баба является *сельской нимфою*, а милиціонный мужикъ *ратникомъ во рыцарскомъ убранствѣ*. Такъ ложное направленіе, данное нашей поэзіи Ломоносовымъ, проникло въ произведенія Державина и мѣшало развернуться его порывистому и мощному генію.

Но есть въ Державинѣ сторона, съ которой онъ имѣетъ глубокое значеніе и всегда будетъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду нашихъ великихъ поэтовъ. Эта сторона есть сатирическое направленіе, послужившее основою стихотвореній *Фелица*, *Вельможа*, *На счастіе*, *Изображеніе Фелицы*, *Видѣніе Мурзы* и немногихъ другихъ, которыя составляютъ драгоцѣннѣйшіе перлы нашей поэзіи и даютъ пѣвцу ихъ право на безсмертіе. Эти піесы, которыя можно назвать *сатирическими одами*, составляютъ единственное украшеніе поэтическаго вѣнка Державина. Въ нихъ мы узнаёмъ того великаго поэта, который былъ представителемъ славнаго вѣка мудрой Екатерины, котораго голосъ сдѣлался оракуломъ современниковъ, породилъ ему толпы враговъ и покровителя въ лицѣ монархини, — узнаёмъ поэта не съ принужденнымъ восторгомъ, но съ истиннымъ, глубокимъ чувствомъ, проникнутаго одушевленіемъ и достойнаго благоговѣнія потомства. Духъ этихъ произведеній са-

тирическій, — но эта сатира нисколько не похожа на сатиру Кантемира и Сумарокова. У тѣхъ она, несмотря на самобытный источникъ, сжата въ подражательной, однообразной формѣ и лишена поэзіи. Въ сатирѣ Державина, напротивъ, видимъ то же самобытное проявленіе духа, но въ самыхъ поэтическихъ идеяхъ и совершенно-оригинальной формѣ. Она такъ разнообразна въ тонѣ и неуловима въ переходахъ, что кажется совершеннымъ протеемъ, оригинальнымъ и поэтическимъ въ каждомъ новомъ измѣненіи. Напрасно стараетесь схватить тонъ и настроенность души поэта: онъ неуловимъ. Его сатира является то грозною филиппикою и гремитъ на порокъ проклятіемъ раздражонной и негодующей души; то слезою тронутаго сердца, оплакивающаго заблужденія; то ядовитой насмѣшкою ума, оскорбленнаго глупостями вседневной жизни; то шуткою добродушнаго характера, рожденною въ веселую минуту; то, послѣ грознаго проклятія порокамъ, гремящаго подобно страшному перуну, переходитъ въ радостную пѣсню добродѣтели, или въ гимнъ той монархинѣ, которой ободряющій голосъ далъ силы поэту сознать свое единственное назначеніе. Но этотъ гимнъ не похожъ на тѣ возгласы, наполненные ничего не выражающими сравненіями и гиперболами, которыя разсыпали щедрою ру-

кою наши Пиндары, воспѣватели фейерверковъ и каруселей. Державинъ въ одахъ, посвященныхъ Екатеринѣ, является вполнѣ достойнымъ ея и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понимающимъ истинное значеніе поэта. Онъ первый замѣнилъ въ нихъ духъ напыщенной лести благороднымъ духомъ истиннаго уваженія къ особѣ государя, — первый рѣшился не воспѣвать небывалыя божества, но высказать чувства глубоко-благодарной души къ той, которая, сочувствуя великой идеѣ Петра, была продолжательницею его подвига. И Екатерина поняла Державина—и плакала отъ радости, читая обращеніе поэта къ Фелицѣ:

Слухъ идетъ о твоихъ поступкахъ,
Что ты нимало ни горда,
Любезна и въ дѣлахъ и въ шуткахъ,
Пріятна въ дружбѣ и тверда,
Что ты въ напастяхъ равнодушна,
А въ славѣ такъ великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть,
Еще же говорятъ неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебѣ и правду говорить.

Неслыханное также дѣло,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смѣло
О всемъ, и въявь, и подъ рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себѣ не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самымъ крокодиламъ,

Твоихъ всѣхъ милостей зоиламъ,
Всегда склоняешься простить.

У насъ величаютъ Державина *пѣвцомъ Бога*, *Водопада*, *Суворова*, *Потемкина*, но ему можно дать одно только имя — пѣвца Екатерины. Онъ зналъ ее вполнѣ, воспѣвалъ не по правиламъ піитики, а по внушенію преданнаго сердца,—и ея образъ является у него во всемъ величіи, озаренный самою высокою поэзіею. Сколько истины въ однихъ этихъ куплетахъ:

Она вѣщала
Безчисленнымъ ея ордамъ:
«Я счастья вашего искала,
И въ васъ его нашла я вамъ;
Ставъ сами вы себѣ послушны,
Живите, славьтеся въ мой вѣкъ,
И будьте столь благополучны,
Колико можетъ человѣкъ.»

«Я вамъ даю свободу мыслить
И разумѣть себя, цѣнить,
Не въ рабствѣ, а въ подданствѣ числить,
И въ ноги мнѣ челомъ не бить;
Даю вамъ право безъ препоны
Мнѣ ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы,
И въ нихъ ошибки замѣчать.»

Вотъ благородный голосъ истиннаго уваженія, основаннаго на чувствѣ человѣческаго достоинства! Ободривъ Державина, Екатерина вдохновила его,—и онъ, изъ сухого ритора, пре-

смыкавшагося въ цѣпяхъ ломоносовскаго классицизма, сдѣлался истиннымъ поэтомъ, и державнымъ голосомъ своей лиры прославилъ свою державную покровительницу. Всѣ оды къ императрицѣ Екатеринѣ принадлежатъ къ этому *отдѣлу* поэзіи Державина, и всѣ онѣ проникнуты сатирическимъ направленіемъ. Доблести Фелицы служатъ поэту идеаломъ: изображая великую монархиню, ея любовь къ законамъ и правосудію, уваженіе къ человѣческому достоинству и покровительство наукамъ и просвѣщенію, онъ тѣмъ самымъ поражаетъ минувшія времена стѣсненія и невѣжества и показываетъ обществу на то, чѣмъ оно было, и чѣмъ можетъ быть, продолжая идти по пути къ развитію...

Эта сатира, оригинальная и разнообразная, поставила Державина на степень истиннаго поэта,—и если бы онъ не уклонялся съ этого пути, не увлекался ложнымъ направленіемъ, то, безъ сомнѣнія, сталъ бы на высокой степени историческаго значенія. Къ несчастію ложныя понятія о поэзіи, господствовавшія въ то время, и недостатокъ образованія отвлекали постоянно Державина отъ его настоящаго призванія,—глагола истины и кары. Но и тѣ немногія произведенія, о которыхъ мы говоримъ, даютъ ему право на имя великаго поэта и на почетное мѣсто въ исторіи поэзіи.

Съ кончиною императрицы, которая—по словамъ самого поэта—была *подпорой и щитомъ его музы*, уничтожилась божественная струя, одушевлявшая пѣвца, струны его лиры ослабѣли, сатира его замолкла,—и онъ изъ вдохновеннаго поэта сдѣлался опять ничтожнымъ панегиристомъ. Восшествіе на престолъ императора Александра пробудило на мигъ вѣщій голосъ престарѣлаго пѣвца, и въ стихахъ *Къ царевичу Хлору* онъ отозвался чѣмъ-то подобнымъ прежнимъ своимъ вдохновеннымъ пѣснямъ. Но это была послѣдняя вспышка угасающаго таланта. Обремененный лѣтами, поэтъ послѣ того почти не существовалъ, и всѣ, написанные имъ потомъ стихи, были совершенно недостойны его, потому-что въ немъ погасло и то реторическое одушевленіе, которое господствовало въ прежнихъ торжественныхъ одахъ.

Такъ смотримъ мы на Державина. Въ произведеніяхъ сатирическихъ онъ является оригинальнымъ, великимъ поэтомъ, пѣвцомъ Екатерины, въ одахъ торжественныхъ видимъ въ немъ послѣдователя Ломоносова, представителя ложно-классической школы, а въ стихотвореніяхъ анакреонтическихъ чувственнаго эпикурейца, дитя матеріяльнаго XVIII вѣка. Онъ поэтъ съ обширнымъ дарованіемъ, достигающій высокаго значенія въ сатирѣ, но человѣкъ

вполнѣ вѣрный своему вѣку и обществу, оглушонному громомъ побѣдъ, ослѣпленному блескомъ новыхъ, но дурно понятыхъ идей,—обществу блестящему, чувственному, которое спѣшило затушить возникающій скептицизмъ въ усиленной набожности и торопилось наслаждаться жизнію.

Другимъ великимъ писателемъ этой эпохи былъ Фонвизинъ, поборникъ идей Кантемира и представитель сатиры въ вѣкъ Екатерины II. Но сатира Кантемира, несмотря на то, что возникла изъ самыхъ потребностей русской жизни, была по формѣ подражательною и шла по стопамъ латинскихъ и французскихъ писателей; у Фонвизина она является оригинальною въ самомъ изложеніи, въ формѣ народной комедіи, проникнутой русскимъ духомъ и вѣрно выражающей современные нравы. Первый никогда не былъ поэтомъ, но только умнымъ человѣкомъ, пламенно любившимъ науку и проникнутымъ негодованіемъ къ невѣжеству; второй, соединяя эти достоинства, былъ нечуждъ поэтическаго таланта и часто обнаруживалъ признаки художественности, близко подходящіе къ поэзіи.

Фонвизинъ, подобно Кантемиру, получилъ воспитаніе въ Россіи, въ только-что основанномъ университетѣ, и, подобно ему, кончилъ образованіе за-границею.

Главнымъ основаніемъ идей Фонвизина было негодованіе на тѣ враждебные просвѣщенію элементы, которые возникли изъ стараго, до-петровскаго общества, и не истребились, а только приняли нѣсколько новую форму,—на тѣхъ враговъ образованія, которые существовали еще во множествѣ, ратуя постоянно за свое старое невѣжество противъ новыхъ идей, такъ несродныхъ съ ихъ лѣнью. Но Фонвизинъ не описываетъ этихъ враговъ образованія, какъ Кантемиръ, а выставляетъ ихъ прямо передъ глаза образованныхъ людей, во всей наготѣ. Кантемиръ зналъ, что немногіе еще могутъ видѣть своими глазами всю грязную сторону невѣжества,—Фонвизинъ видѣлъ, что въ обществѣ есть уже люди, сознающіе вполнѣ выгоды образованія, которымъ нужно только показать типы варварства, чтобъ потрясти ихъ отвращеніемъ и негодованіемъ; потому сатира, существовавшая у одного въ прямомъ видѣ, въ формѣ посланія, является у другого въ видѣ комедіи. Вотъ какъ подвинулось впередъ общество въ тѣ четыре десятилѣтія, которыя раздѣляютъ обоихъ писателей!

Такимъ образомъ, негодованіе на враговъ просвѣщенія есть та общая нить, которая связываетъ Кантемира со многими изъ позднѣйшихъ писателей. У Фонвизина эта идея развивается обширнѣе и многостороннѣе, въ-слѣд-

ствіе самаго состоянія тогдашняго общества. Онъ сражается не съ однимъ старымъ поколѣніемъ, упорно враждовавшимъ противъ нововведеній, но и съ тѣмъ новымъ невѣжествомъ, которое, дурно понявъ выгоды сближенія съ западомъ, считало ихъ въ одномъ только искорененіи всего русскаго, въ слѣпомъ подражаніи всему иностранному, и съ своей стороны также вредило истинному просвѣщенію. Но какъ то и другое возникало или изъ совершеннаго недостатка воспитанія, или изъ ложнаго понятія о немъ, потому основною идеею Фонвизина было—истинное воспитаніе. Эту идею развиваетъ онъ постоянно во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, доказывая, что *чрезъ воспитаніе* не должно *разумѣть одного питанія*, или понимать совершеннаго отчужденія отъ всего отечественнаго. На этой идеѣ основаны всѣ сочиненія его,—и представителемъ одной стороны ея служитъ *Недоросль*, а другой *Бригадиръ*. Въ той и другой комедіи мы видимъ невѣжество; но въ первой оно является какъ осадокъ старой грубости, упорно сопротивлявшейся реформѣ,—во второй какъ новая примѣсь, возникшая отъ дурно-понятаго образованія и излишней подражательности.

Въ *Недоросли* выведено на сцену то провинціяльное дворянство, которое, не сознавъ благодѣтельныхъ видовъ Петра и Екатерины,

упорно враждовало противъ просвѣщенія и цивилизаціи, являясь то въ лицѣ Фуріи-барыни, сдиравшей кожу съ крестьянъ, то помѣщика, возившагося всю жизнь съ однѣми свиньями, то матушкина сынка, записаннаго въ службу и, вмѣсто ученія, лазившаго по голубятнямъ. Въ лицахъ Простоковой, Скотинина, Митрофана—Фонвизинъ рисуетъ современные типы невѣжества. Первая представляетъ идеалъ той грубой провинціялки, которая ненавидитъ науку, если не видитъ возможности извлечь изъ нея выгоды, и всякаго, кто ниже ея по званію, считаетъ недостойнымъ человѣческаго имени. Вотъ что̀ говоритъ она про ученіе:

«Безъ наукъ люди живутъ и жили. Покойникъ батюшка воеводою былъ пятнадцать лѣтъ, а съ тѣмъ и скончаться изволилъ, что не умѣлъ грамотѣ: а умѣлъ достаточекъ нажить и сохранить.»

Съ невѣжествомъ всегда неразлучна варварская жестокость и неуваженіе къ человѣческому достоинству,—и Простакова, при своемъ презрѣніи къ образованію, отличается отвратительными понятіями о человѣческой личности. Въ ея глазахъ крестьяне—не люди...

Простакова.

Палашка гдѣ?

Еремеевна.

Захворала, матушка, лежитъ съ утра.

Простакова.

Лежитъ! ахъ, она бестія! лежитъ! Какъ будто она благородная!

Еремеевна.

Такой жаръ рознялъ, матушка; безъ умолку бредитъ.

Простакова.

Бредитъ, бестія! Какъ будто благородная!

Въ Скотининѣ авторъ представляетъ намъ типъ помѣщика, который привыкъ вести животную жизнь, чуждый человѣческаго общества и человѣческихъ мыслей. Его гнусная натура возмущаетъ душу, говоритъ ли онъ о вредѣ ученья, о своей скотской привязанности къ свиньямъ или о своемъ отвратительномъ миролюбіи...

«Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня сосѣди ни обижали, сколько убытку ни дѣлали, я ни на кого не билъ челомъ: а всякой убытокъ, чѣмъ за нимъ ходить, сдеру съ своихъ же крестьянъ, такъ и концы въ воду.»

Наконецъ, вмѣстѣ съ ними является Митрофанъ, типъ глупости, отсутствія воспитанія, и жертва слѣпой материнской любви, чуждой всякаго благороднаго начала.

Этихъ-то исчадій невѣжества и варварства выставляетъ Фонвизинъ предъ глаза публики, во всей наготѣ гнусной ихъ природы.

Въ *Бригадирѣ* является также толпа невѣждъ,

только другого покроя, которыхъ невѣжество проистекаетъ не отъ совершеннаго отчужденія отъ образованія, но отъ ложнаго понятія о немъ и старанія корчить европейское общество, заимствуя у него не идеи и гражданскую образованность, а одни только пороки и наружный колоритъ цивилизаціи.

Въ лицахъ Иванушки и Совѣтницы поэтъ представляетъ намъ тѣхъ ничтожныхъ глупцовъ, которые вообразили, что истинное образованіе состоитъ только въ передразниваніи иностранныхъ привычекъ и даже пороковъ, что vivre dans le grand monde—значитъ болтать по-французски, а для того, чтобъ сдѣлаться человѣкомъ, европейцемъ, нужно отказаться отъ отечества и перестать быть Русскимъ. Посмотрите на Иванушку и его любезную Совѣтницу!

Иванушка.

Все несчастіе мое состоитъ въ томъ только, что ты Русская.

Совѣтница.

Это, ангелъ мой, конечно, для меня ужасная погибель.

Иванушка.

Это такой défaut, котораго ничѣмъ загладить нельзя.

Ясно, что такіе люди были вредны, что

они неменѣе закоснѣлыхъ невѣждъ останавливали истинное просвѣщеніе и неменѣе ихъ заслуживали быть выставлены на позорище и поражены бичомъ сатиры. Если въ лицахъ, представленныхъ въ Недорослѣ, мы видимъ тѣхъ самыхъ, которыхъ преслѣдовалъ Кантемиръ,—то въ Бригадирѣ являются новые типы, еще неизвѣстные ему, которые родились послѣ значительнаго сближенія нашего съ Европою, и какъ ни были отвратительны, однако показывали, что общество получило уже такой толчокъ, такое движеніе, въ которомъ многое могло отклонить его на время отъ истиннаго пути къ просвѣщенію, но ничто не въ состояніи остановить или воротить къ первобытной неподвижности. Шагъ сдѣланъ — и шагъ великій!

Почти всѣ комическія лица въ обѣихъ піесахъ Фонвизина взяты изъ дѣйствительной жизни, изображены вѣрно и сильно, носятъ на себѣ печать большого таланта и иногда напоминаютъ даже лица Гоголя. Но этого нельзя сказать про лица серьёзныя: они скучны, неестественны, безжизненны,—и всякій разъ, когда Фонвизинъ выходитъ изъ сатирическаго тона, онъ дѣлается ложнымъ и вдается въ скучное резонёрство. Его Софьи, Добролюбы, Правдины и Стародумы—усыпительны, лишены жизни и значенія. Разговоры Стародума съ Софь-

ею, доказывая любовь къ правдѣ и доброе сердце автора, похожи не на комическія сцены, а на разсужденія, писанныя на ученическую тему о пользѣ добродѣтели, или на *разговоры въ царствѣ мертвыхъ*. Только Стародумъ изъ машинальной куклы становится иногда похожимъ на человѣка, когда одушевляется негодованіемъ къ невѣжеству и злоупотребленію. Серьёзныя лица особенно служили Фонвизину для-того, чтобъ высказать его мысли о воспитаніи, которое онъ полагалъ «залогомъ благосостоянія государства.» Говоря о воспитаніи, онъ преслѣдовалъ неблагоразумныхъ родителей, которые «воспитаніе сынка своего поручаютъ своему рабу крѣпостному»—но вмѣстѣ съ тѣмъ нападалъ и на тѣхъ, кто ввѣряетъ дѣтей иностранцамъ, не спрашивая кто̀ они, и выбирая Вральмановъ и Шевалье Какаду. Въ этомъ отношеніи замѣчателемъ его *Вечеръ у княгини Халдиной*, гдѣ, въ лицѣ Сорванцова, показаны пагубныя слѣдствія дурного воспитанія въ человѣкѣ умномъ и благородномъ отъ природы.

Смотря на Фонвизина какъ на представителя вѣка, нельзя не признать его важнѣйшимъ дѣятелемъ его эпохи, коснувшимся самыхъ живыхъ общественныхъ интересовъ. Хотя онъ не можетъ быть названъ истиннымъ поэтомъ, хотя мнѣнія его не отличались постоянствомъ

и твердостію, и онъ то платилъ дань скептицизму въ *Посланіи къ Шумилову*, то увлекался ненавистью къ французскому обществу и дѣлался *стародумомъ*;—однако его идеи, полныя сочувствія къ народнымъ потребностямъ и часто воспроизводимыя въ художественной формѣ, не позволяютъ отказать ему въ значеніи самаго даровитаго писателя своего времени. Однимъ словомъ, всѣ идеи Фонвизина посвящены вопросу, въ-послѣдствіи предложонному имъ въ Собесѣдникѣ,—«какъ истребить два сопротивные и оба вреднѣйшіе предразсудка: первый, будто у насъ все дурно, а въ чужихъ краяхъ все хорошо; второй будто въ чужихъ краяхъ все дурно, а у насъ все хорошо?»—вопросу, на который императрица Екатерина мудро отвѣчала въ томъ же журналѣ: «временемъ и знаніемъ!»

---

## III.

## ЖУКОВСКІЙ, БАТЮШКОВЪ И КРЫЛОВЪ.

---

Между-тѣмъ готовился переворотъ въ основныхъ началахъ творчества, который долженъ

былъ сокрушить дряхлое зданіе классицизма и открыть новый путь для поэзіи. Еще въ XVII вѣкѣ въ Англіи, Германіи и Франціи были люди, сознававшіе вполнѣ ложность господствующихъ понятій. Въ слѣдующемъ столѣтіи явились мыслители, которые сильнѣе начали подкапывать ветхое и тяжолое зданіе классической теоріи; но оно все еще держалось, благодаря послѣднимъ, отчаяннымъ усиліямъ классиковъ. Видно было, что человѣчество готовится къ новой жизни, но эта потребность не сознавалась еще вполнѣ во Франціи, бывшей законодательницею вкуса и руководительницей Россіи. Несмотря на то, что Бернарденъ де Сенъ-Пьеръ и Жанъ-Жакъ Руссо, сбросивъ тяжолыя цѣпи отжилыхъ понятій, кинулись съ увлеченіемъ страсти въ объятія природы, что явился *Вертеръ*, и великій Гете сказалъ: «одна только природа творитъ поэтовъ», — дряхлый классицизмъ держался въ своей истлѣвшей мантіи и щеголялъ въ ветхой, изодранной маскѣ. Изъ среды его показались люди, которые, не понявъ новыхъ идей, видѣли въ *Вертерѣ*, *Элоизѣ*, *Павлѣ и Виргиніи* только наружную сторону, и, принимая эти произведенія за какія-то идилліи, находили въ нихъ одну сельскую природу и чувствительность. Они обратились къ этой природѣ; но не имѣя силъ отстать отъ своихъ старыхъ вѣрованій,

вздумали украшать ее, перенося въ современную жизнь нравы Ѳеокритовъ и Виргиліевъ и пастушеское счастіе *золотого вѣка*. Это были послѣднія усилія издыхающаго классицизма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, темно-сознаваемыя стремленія къ перерожденію общества. Поэзія превратилась въ вертепъ сельской любви и слезной чувствительности, торжественная ода замолкла, и *вой лиръ* смѣнился плачемъ и вздохами.

Это новое стремленіе отразилось и на русской поэзіи. Въ концѣ XVIII вѣка явился Карамзинъ. Одаренный свѣтлымъ умомъ, образованный и воспріимчивый, но лишонный поэтическаго таланта, этотъ человѣкъ не могъ не подчиниться вліянію сантиментальной школы, такъ сообразной съ его личнымъ характеромъ,— и пересадилъ новое растеніе на русскую почву.

Въ 1792 году явилась его *Бѣдная Лиза*, содержаніе которой взято, кажется, изъ разсказа Вертера объ утопившейся бѣдной дѣвушкѣ [10]. Какъ ни была неестественна эта сказка, въ которой русская крестьянка представлена какою-то наивною Виргиніею, влюбленною платонически и оканчивающею жизнь самоубійствомъ,—но она имѣла необыкновенный успѣхъ и породила множество читателей тамъ, гдѣ почти не существовало до тѣхъ поръ никакой публики. Отчего же произвела такое дѣйствіе невѣроятная повѣсть, искаженіе ро-

мановъ Гете и Бернарденъ де Сенъ-Пьера, въ которой все противорѣчило нравамъ и жизни, гдѣ вмѣсто истиннаго чувства являлась сладенькая чувствительность? Отъ-того, что Русскіе въ первый разъ увидѣли въ поэзіи попытку на сближеніе съ природою, и нашли не куколъ, но что-то похожее на людей съ сердцемъ и душою. Вотъ причина успѣха Бѣдной Лизы и значеніе Карамзина въ исторіи нашей поэзіи, несмотря на то, что онъ былъ только умнымъ человѣкомъ, а не поэтомъ. Не имѣя силъ понять Шекспира, Гете и Шиллера, онъ не въ состояніи былъ сдѣлаться романтикомъ, но воспитавъ себя *въ любезномъ сердцу лонѣ натуры*, не могъ сочувствовать и ложному классицизму,—а потому необходимо долженъ былъ пристать къ той сантиментальной школѣ, которой отчасти заплатилъ дань и самъ Гете. Одаренный изящнымъ вкусомъ и обширнымъ умомъ, Карамзинъ принесъ большую пользу поэзіи тѣмъ, что нанесъ сильный ударъ классицизму и заговорилъ въ первый разъ живымъ, доступнымъ сердцу языкомъ. Какъ ни ложны и неестественны были его повѣсти, но онѣ стояли неизмѣримо выше всѣхъ одъ и эпическихъ поэмъ, эклогъ и идиллій, которыми угощали до тѣхъ поръ русскихъ читателей: если въ *Натальѣ боярской дочери* и *Марѳѣ посадницѣ* не было ничего русскаго, то въ нихъ

было уже много человѣческаго, доступнаго сердцу,—и публика откликнулась на этотъ новый голосъ и прочла Карамзина съ восторгомъ.

Важнѣйшими дѣятелями карамзинской эпохи были Озеровъ и Дмитріевъ. Всѣ они оказали услугу русской поэзіи и приготовили къ появленію романтическихъ идей, или внося новые элементы, враждебные классицизму, или представляя его въ послѣдней степени развитія.

Озеровъ выразилъ то же самое направленіе въ трагедіяхъ, которое у Карамзина явилось въ повѣстяхъ и посланіяхъ. Его трагедіи были послѣднимъ выраженіемъ классицизма; но онѣ не походили на произведенія Сумарокова и Княжнина, и если такъ же были чужды народности, мѣстныхъ красокъ и духа описываемаго времени, зато въ нихъ увидѣли уже не мертвыхъ куколъ, движимыхъ неискусной рукою плохого механика, не призраковъ, одѣтыхъ въ пурпуръ и золото, а людей, способныхъ иногда тронуть сердце. Впрочемъ въ трагедіяхъ Озерова, какъ и въ повѣстяхъ Карамзина, истинное чувство превращалось въ приторную чувствительность, а дѣйствующія лица отличались только по костюмамъ. Въ нихъ русскіе князья, древніе Греки и оссіяновскіе герои всѣ похожи другъ на друга,—и

если бы костюмеръ не одѣвалъ однихъ въ русскіе кафтаны, другихъ въ греческія мантіи, а третьихъ въ норманнскіе доспѣхи, то зрителямъ невозможно было бы рѣшить, кого они видятъ—Фингаловъ, Агамемноновъ или Димитріевъ. Во всѣхъ піесахъ являлось одно и то же лицо, какъ хорошо знакомый актеръ, котораго публика узнавала съ перваго шагу, въ какое бы платье онъ ни нарядился. Но несмотря на то, что Озеровъ не успѣлъ сдѣлать ни одного шага въ самой идеѣ драмы, несмотря на то, что онъ былъ только подражателемъ Дюси,—русскій театръ въ его произведеніяхъ подвинулся значительно впередъ. Его трагедіи были, правда, ложно-класссическія, какъ и трагедіи его предшественниковъ, но классицизмъ Озерова нисколько не походилъ на классицизмъ Сумарокова и Княжнина; онъ былъ щеголеватъ, блестящъ, какъ у Французовъ, въ немъ видно было движеніе, и мелькала чувствительность, первый шагъ къ сближенію съ природою.

Но важнѣйшимъ сотрудникомъ Карамзина былъ Дмитріевъ. Его лирическія произведенія пользовались въ свое время большою славою: *Освобожденіе Москвы* и *Ермакъ* приводили въ восторгъ публику, и вполнѣ заслуживали его, потому-что, несмотря на отсутствіе державинскаго одушевленія и красокъ, были выраже-

ны полнѣе, безъ повтореній и водяной растянутости, и отличались сильнымъ, выразительнымъ языкомъ, легкостію и красотою стиха, до тѣхъ поръ неизвѣстными. Пѣсни и сказки Дмитріева, подобно пѣснямъ и сказкамъ Карамзина, были проникнуты сантиментальностію, но лишены чувства и проблесковъ народности, которые являлись иногда въ пѣсняхъ Мерзлякова.

Это сантиментальное направленіе, данное поэзіи Карамзинымъ и продолжонное Дмитріевымъ и Озеровымъ, отразилось на цѣлой толпѣ послѣдователей,—и, какъ обыкновенно бываетъ, эти послѣдователи, не понявъ истиннаго значенія своихъ образцовъ, бросились болѣе на ихъ слабыя стороны. Подражатели Карамзина заняли у него одни только недостатки, приторную меланхолію, сладенькую чувствительность, театральную грусть, идиллическую нѣжность,—и принялись воспѣвать

Нравы невинныхъ, кроткихъ пастушекъ,
Вздохи, утѣхи, любовь.

Какъ ни смѣшна была эта школа *чувствительныхъ сердецъ*, какъ ни ложно смотрѣла она на природу и человѣческое сердце, однако принесла пользу, разорвавъ послѣднія лохмотья классицизма и приготовивъ публику къ появленію идей романтическихъ, которымъ

должно было обновить нашу поэзію для новой жизни. Вольтеръ сказалъ великую истину, говоря, что l'erreur a son mérite.

Несмотря на повсемѣстное господство классицизма, самобытная поэзія европейскихъ народовъ,—которой источникомъ служили преданія, христіянскія легенды и старинные романсы, уцѣлѣвшіе отъ среднихъ вѣковъ,—совершала въ тишинѣ свою жизнь и наконецъ восторжествовала надъ ложнымъ направленіемъ. Нѣмцы и Англичане, на которыхъ менѣе отражалось вліяніе классическаго міра, изучивъ характеръ древности и среднихъ вѣковъ и истинное значеніе поэзіи Грековъ и Римлянъ, сбросили тяжолыя цѣпи старыхъ понятій. Тогда настала пора перерожденія и для Франціи. Во второй половинѣ XVIII столѣтія она познакомилась съ Шекспиромъ и узнала Гете. Вслѣдъ за тѣмъ Шенье, усвоивъ красоты и духъ греческаго міра, показалъ разницу между классицизмомъ древнихъ, возникшимъ изъ ихъ природы и нравовъ, и ложнымъ классицизмомъ, созданнымъ произвольною теоріею; а Мерсье переводомъ на французскій языкъ Шиллера, и Сталь знаменитымъ сочиненіемъ *о Германіи,* обратили взоры Французовъ на нѣмецкую поэзію, гдѣ элементы, проявившіеся въ общественной жизни среднихъ вѣковъ, и не имѣвшіе ничего общаго ни съ древнимъ клас-

сицизмомъ Грековъ и Римлянъ, ни съ новымъ ложнымъ подражаніемъ ему, произвели уже направленіе, названное *романтическимъ*, представителемъ котораго былъ Шиллеръ.

Подобная реформа совершилась и въ русской поэзіи, бывшей постоянно подъ вліяніемъ французскихъ идей. Хотя Аблесимовъ, въ своемъ *Мельникѣ*, и Фонвизинъ, въ Недорослѣ и Бригадирѣ, старались вырваться изъ оковъ ложнаго классицизма, однако самыя усилія Карамзина и его послѣдователей, которые стремились къ сближенію съ природою, не могли вполнѣ сокрушить его. Онъ держался у насъ, такъ же какъ и во Франціи, до тѣхъ поръ пока мы не познакомились, подобно Французамъ, съ новѣйшею поэзіею Нѣмцевъ и Англичанъ, и не усвоили ея животворнаго элемента. Важнѣйшимъ дѣятелемъ на этомъ поприщѣ является Жуковскій, поэтъ по преимуществу романтическій.

Онъ началъ свою дѣятельность въ такое время, когда французскій классицизмъ отжилъ у насъ совершенно, когда Карамзинъ, сблизивъ поэзію съ природою, хотя и по ложному пути, пробудилъ общество къ новой жизни и новымъ идеямъ. Покоряясь обаятельной силѣ генія Шиллера, Жуковскій началъ подражать ему и переводить его произведенія. Поэзія наша, не согрѣваемая до тѣхъ поръ никакимъ чувствомъ, вдругъ прониклась живоноснымъ

источникомъ романтизма. Вмѣсто уродливыхъ твореній Сумарокова и Хераскова, безсердечной поэзіи Державина и приторной чувствительности Карамзина, русское общество услышало страстный языкъ сердца, любящаго и страдающаго, глубокую тоску души, проникнутой грустью о непрочности жизни и вѣчнымъ стремленіемъ къ иному существованію, души скорбящей по дѣйствительному и стремящейся къ идеальному. Все это заимствовалъ Жуковскій у Шиллера и тѣхъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ, у которыхъ онъ находилъ что-нибудь романтическое. Переводы изъ Шиллера были истиннымъ призваніемъ Жуковскаго; онъ усвоялъ идеи нѣмецкаго поэта съ тою воспріимчивостью, которая составляетъ отличительное свойство русскаго ума и объясняетъ перерожденіе, которое совершилось съ Россіею въ теченіи одного вѣка. Муза Жуковскаго до такой степени была родственною музѣ Шиллера, что всѣ переводы изъ нѣмецкаго пѣвца проникнуты вполнѣ его духомъ. Но этого нельзя сказать о переводахъ изъ Гете и Байрона. *Шильонскій узникъ*, несмотря на удивительную красоту стиховъ, такъ близкихъ къ подлиннику, что самые эпитеты можно сравнивать буквально,—по духу всей піесы отличается отъ характера оригинала: мрачное, спокойное, холодное отчаяніе Байрона превра-

тилось у Жуковскаго въ вопль мучительной скорби и подавляющаго страданія.

Какъ поэтъ оригинальный, Жуковскій не имѣетъ вовсе такого значенія и принадлежитъ къ реторической школѣ, а притязанія его на народность совершенно-напрасны. *Двѣнадцать спящихъ Дѣвъ* (передѣланныя изъ романа Шписа), *Свѣтлана, Пѣснь барда надъ гробомъ Славянъ* и всѣ подобныя стихотворенія—доказываютъ, что у него не было никакихъ другихъ элементовъ, кромѣ шиллеровскаго романтизма. Въ нихъ встрѣчаются поэтическія мѣста только тамъ, гдѣ, вѣрный этому романтизму, поэтъ задумывается о земной жизни и груститъ по небѣ. Что̀ касается до *Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ* и *Пѣвца на Кремлѣ*, то, отдавая справедливость поэту въ его патріотическихъ чувствахъ, должно однако согласиться, что въ этихъ стихотвореніяхъ народнаго такъ же мало, какъ въ поэмахъ Хераскова, а изысканнаго и неестественнаго нисколько не менѣе. Этотъ *пѣвецъ*, ударяющій *во струны арфы предъ сонмомъ вождей Славянъ*, когда не было на свѣтѣ ни арфъ, ни Славянъ, а были русскіе солдаты и барабаны, неудобные для воспѣванія гимновъ,—эти *щиты, копія, мечи и кольчуги* въ вѣкѣ штыковъ, пушекъ и мундировъ,—все напоминаетъ о реторической напыщенности XVIII вѣка и свидѣтельствуетъ объ отсутствіи истин-

наго чувства. Первое стихотвореніе оправдывается, по-крайней-мѣрѣ, цѣлью и временемъ, для котораго было написано; второе вовсе не имѣетъ достоинства и похоже на какой-то блѣдный, безхарактерный очеркъ, гдѣ вмѣсто людей являются *привидѣнія*. Обѣ эти піесы, по духу и идеямъ, сходны съ *Гимномъ лиро-эпическимъ* Державина, съ тою только разницею, что въ послѣднемъ Наполеона называютъ *змієвиднымъ демономъ*, *сатаніиломъ и антихристомъ*, а въ первыхъ только *губителемъ и убійцею*.

Такимъ образомъ, Жуковскій какъ поэтъ оригинальный не имѣетъ никакого значенія; но какъ геніяльный переводчикъ и подражатель, познакомившій русское общество съ романтическими идеями Шиллера, принадлежитъ къ числу важнѣйшихъ дѣятелей нашего вѣка, и всегда будетъ занимать почотное мѣсто въ исторіи литературы.

Въ одно время съ Жуковскимъ выступилъ на поэтическое поприще Батюшковъ. Какъ стихіею перваго была романтическая поэзія новыхъ европейскихъ народовъ, такъ элементъ второго составляла классическая поэзія древнихъ. Жуковскій, слѣдуя своему назначенію, сроднился съ идеями Шиллера; Батюшковъ началъ свое воспитаніе съ Парни и Шенье. Призванный познакомить русскую поэзію съ

изящнымъ міромъ древней Греціи, съ красотами ея античнаго искусства, онъ совершилъ свое назначеніе блистательнымъ образомъ. Изучая его произведенія, мы можемъ отнести къ нему собственныя его слова:

Подъ сумрачнымъ родился небомъ,
Но будто въ Аттикѣ рожденъ.

Въ произведеніяхъ Батюшкова Русскіе въ первый разъ услышали очаровательные звуки древней лиры, и почувствовали вѣяніе того духа, которымъ проникнуты классическія созданія Греціи и Рима. Переводилъ ли онъ эпиграммы изъ греческой антологіи или римскія элегіи Тибулла,—въ его стихахъ звучала гармонія и дышало чувство, увлекавшія душу въ міръ эстетической древности. Многія собственныя сочиненія его кажутся отрывками изъ греческой антологіи, — такъ умѣетъ онъ доводить мысль до безъискусственной простоты и придавать ей античный оборотъ. Даже въ переводахъ изъ Парни видѣнъ характеръ древней поэзіи, котораго нѣтъ нисколько въ оригиналѣ: таково стихотвореніе *Вакханка*, взятое изъ поэмы Les Déguisements de Vénus.

Какъ Жуковскій былъ преимущественно пѣвецъ жизни загробной, такъ предметъ пѣсней Батюшкова радости и печали земной жизни. У него не найдете неопредѣленной грусти и

неяснаго стремленія въ невѣдомый міръ, а встрѣтите наслажденія жизнію и жажду удовольствій. Его муза не грустная, страждущая дѣва, съ блѣднымъ, задумчивымъ лицомъ и очами устремленными въ безконечную даль; но прелестная, полунагая красавица, иногда задумывающаяся о кратковременности счастія и наслажденій, но больше безпечно-веселая, упоительно-страстная, раскинувшаяся *на ложѣ изъ цвѣтовъ* и, въ ожиданіи возлюбленнаго, млѣющая въ огнѣ желаній. По чувственнымъ картинамъ красоты и любви, по сладострастному взгляду на жизнь Батюшковъ сроденъ съ Парни; по античной красотѣ картинъ и пластическому выраженію мысли, по чувственности, нѣжной, можно сказать одухотворенной,—онъ приближается къ Шенье. Безпрестанно встрѣчаются у него картины, напоминающія этихъ поэтовъ: онъ то нисходитъ до наглаго, циническаго сладострастія Парни, то возвышается до цѣломудренной, дѣвственной чистоты Шенье; то поэзія его похожа на обольстительную, раздражающую картину, то на статую, которая возбуждаетъ удивленіе, но не чувственность. Сенсуализмъ древняго міра и пластическая красота греческаго искусства были отличительными чертами таланта Батюшкова. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ говоритъ, что въ Парижѣ болѣе всего поразили

его статуя Аполлона Бельведерскаго и ножки француженокъ: вотъ два элемента его поэзіи,— міръ классической древности и область чувственной красоты.

Изъ этого видно, что Батюшковъ имѣетъ у насъ такое же значеніе, какъ Андрей Шенье у Французовъ. Ему суждено было оживить нашу поэзію духомъ классической древности, который, слившись съ струею романтизма, внесеннаго Жуковскимъ, обновилъ русскую литературу и вдохнулъ въ нее новую жизнь. До Батюшкова мы не знали древней поэзіи; онъ подарилъ намъ прелестный вѣнокъ, сплетенный изъ самыхъ благоуханныхъ цвѣтовъ, собранныхъ подъ небомъ Эллады и Авзоніи, въ который прибавилъ еще нѣсколько прекрасныхъ прозябеній скандинавскаго сѣвера. Лучшія произведенія его—*Переводы изъ греческой антологіи* и элегіи *Умирающій Тассъ* и *Развалины замка въ Швеціи*. Заслуга Батюшкова въ отношеніи внѣшней обработки стиха—еще важнѣе и превосходитъ заслугу Жуковскаго. Въ стихѣ его нѣтъ, правда, гибкости и теплоты, но онъ чистъ и мягокъ, какъ паросскій мраморъ, и достигаетъ иногда удивительной нѣжности и гармоніи. Таково начало стихотворенія *Тѣнь друга*. Несмотря на то, что Батюшковъ въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ кончилъ свою поэтическую дѣятельность, онъ занялъ въ исторіи нашей

литературы мѣсто на ряду съ Жуковскимъ, какъ одинъ изъ обновителей поэзіи, имѣвшій большое вліяніе на Пушкина.

Вмѣстѣ съ Батюшковымъ дѣйствовалъ на томъ же самомъ поприщѣ Гнѣдичъ. Его переводъ Иліады также способствовалъ нѣсколько тому, чтобъ познакомить насъ съ духомъ древней Греціи и величайшаго ея представителя, Гомера. Къ-несчастію, ошибочное употребленіе оборотовъ стариннаго славянскаго языка, тяжолаго и невыразительнаго, было причиною, что переводъ Гнѣдича не произвелъ впечатлѣнія на общество, и не имѣлъ такого вліянія на поэзію, какъ произведенія Батюшкова.

Но между-тѣмъ какъ ложно-классическая школа перерождалась въ романтическую, и русская поэзія сближалась съ идеями нѣмецкой и англійской и знакомилась съ духомъ древности,—сатира продолжала свою самобытную жизнь, преслѣдуя грубые элементы старыхъ нравовъ и новый наростъ пороковъ, возникшій изъ дурно-понятаго образованія.

Однимъ изъ злополучныхъ остатковъ до-петровской Руси была гнусная язва продажности законовъ и нарушенія справедливости, которая составляла самую ужасную болѣзнь общества. Мы видѣли, что еще Кантемиръ вооружался на этотъ зловредный остатокъ варварства,

и Сумароковъ неутомимо сражался съ *канцелярскимъ сѣменемъ*. Въ концѣ прошлаго вѣка неправосудіе нашло новаго сильнаго врага въ лицѣ Капниста, который возсталъ на него въ сатирической комедіи *Ябеда*. Эта піеса, не имѣя въ себѣ ничего комическаго и художественнаго, не заключая даже ни одного типическаго характера, какъ комедіи Фонвизина,— принесла однако большую пользу своимъ энергическимъ нападеніемъ на презрѣнныхъ исполнителей священныхъ законовъ. Въ ней взяточничество и продажность совѣсти выставлены на позорище въ самой отвратительной наготѣ, съ самой грязной стороны ихъ гнусной натуры. Нельзя безъ негодованія читать сценъ, гдѣ авторъ выводитъ крючкотворцевъ и ябедниковъ, для которыхъ права состояли въ однихъ деньгахъ, а самая точность и многочисленность законовъ служила источникомъ козней. Вотъ какъ говорятъ въ комедіи Капниста эти выродки татарщины:

Кривосудовъ.

Тутъ надобенъ указъ, иль право, иль законъ.

Фекла.

Законовъ столько.!

Кривосудовъ.

Такъ.

Фекла.

Указовъ милліонъ!

Кривосудовъ.

И это истинно.

Фекла.

Правъ цѣлая громада!

Кривосудовъ.

Все неоспоримо.

Фекла.

Ну! такъ чего же надо?

Кривосудовъ.

Безумна! надобно такой законъ прибрать,
Чѣмъ виноватаго могли бы оправдать.

Эта комедія пользовалась большою славою и вполнѣ заслуживала ее, благодаря своей прекрасной цѣли,—но по совершенному отсутствію художественности и комизма, по грубости и мертвой неподвижности стиховъ, давно потеряла значеніе. Мы не читаемъ болѣе Ябеды, и только одинъ ея стихъ сдѣлался народною пословицею, до сихъ поръ не забытою:

Законы святы,
Но исполнители лихіе супостаты.

Въ то же время у насъ господствовала школа панегиристовъ; меценатство и страсть къ тор-

жественнымъ одамъ были во всей силѣ: многіе не считали постыднымъ пресмыкаться по переднимъ и льстить милостивцамъ и благодѣтелямъ. На эту толпу панегиристовъ напали Милоновъ и Дмитріевъ. Оба они не были поэтами и принадлежали, съ одной стороны, къ реторической школѣ, но ихъ идеи въ сатирѣ даютъ тому и другому почотное мѣсто въ исторіи нашей поэзіи.

Милоновъ возсталъ съ благородной энергіею на униженіе великаго званія поэта. Онъ съ негодованіемъ преслѣдовалъ тѣхъ жалкихъ скомороховъ, которые превратили поэзію въ источникъ матеріяльныхъ выгодъ, въ средство для пріобрѣтенія милостей и денегъ,—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нападалъ на самое общество, укрывавшее подъ своей защитою такихъ низкихъ и презрѣнныхъ исказителей истины. Осмѣивая бездарнаго продавца поддѣльнаго восторга, Милоновъ восклицаетъ:

Стихи свои хвалой наполни гнусныхъ дѣлъ,
Будь дерзокъ, подлъ и льстецъ—и слава твой удѣлъ!

И говоря о современномъ обществѣ, онъ прибавляетъ:

Найдутся многіе, которые простятъ
Безсмыслицѣ твоей за то, что въ ней узрятъ
И цѣль полезную и рвеніе благое...

Еще сильнѣйшимъ врагомъ этого обществен-

наго порока явился Дмитріевъ. Въ переводѣ *Ювеналовой сатиры о благородствѣ* и въ *Посланіи Попа къ Арбутноту* онъ выражаетъ негодованіе на невѣждъ-меценатовъ, гордыхъ не образованіемъ, а богатствомъ и титулами, на бездарныхъ стихоплетовъ, марателей бумаги, и безсовѣстныхъ критиковъ, *уставщиковъ кавыкъ*. Но съ особеннымъ жаромъ преслѣдуетъ онъ въ сатирѣ *Чужой толкъ* нашихъ доморощенныхъ *Пиндаровъ*, воспѣвателей побѣдъ и праздниковъ, поставщиковъ лести и низкопоклонства. Какъ остроумно пародируетъ Дмитріевъ ихъ оды, или *реляціи въ стихахъ*, какъ зло осмѣиваетъ ихъ *Фебовъ*, *райскіе крины* и всѣ надутые возгласы, какъ благородно разитъ льстецовъ, которыхъ цѣлью была

Награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ!

Сатиры Милонова и Дмитріева принесли пользу нашей поэзіи, унизивъ торжественную оду и заказное стихотворство.

Сатирическое направленіе появилось также у Дмитріева въ нѣкоторыхъ басняхъ и сказкахъ, гдѣ мелькаютъ тѣ же идеи, которыя господствовали въ произведеніяхъ Кантемира и Фонвизина, — идеи истиннаго воспитанія и презрѣнія къ врагамъ просвѣщенія. Итакъ, платя дань ложно-классической и сантиментальной

школѣ въ лирическихъ стихотвореніяхъ, пѣсняхъ и отчасти сказкахъ, онъ является въ сатирѣ писателемъ, нечуждымъ сочувствія къ общественнымъ интересамъ.

Но важнѣйшимъ представителемъ сатиры въ эту эпоху былъ Крыловъ, величайшій изъ баснописцевъ. Здѣсь необходимо сказать о томъ глубокомъ и важномъ значеніи, какое имѣетъ у насъ басня. Въ такомъ обществѣ какъ русское, гдѣ со времени преобразованія виднѣлась борьба самыхъ противоположныхъ началъ, гдѣ европейская цивилизація сталкивалась съ азіятской нетерпимостію, — идея не всегда могла являться въ наготѣ, но требовала нерѣдко прикрытія, замаскировки, и прикидывалась то арлекиномъ, чтобъ высказать горькую истину, то наивнымъ простякомъ, чтобъ бросить непріятный упрекъ тѣмъ, кого не могла преслѣдовать явно. Скрываясь подъ покровомъ аллегоріи, для-того чтобъ *не раздразнить гусей*, она пользовалась маскерадной свободою и высказывала такія смѣлыя истины, которыхъ не отважилась бы никогда выговорить съ открытымъ лицомъ. Вотъ причина, почему басня получила у насъ значеніе, какого никогда не имѣла на западѣ, почему она принялась у Русскихъ лучше, нежели у другихъ народовъ, и достигла высокаго совершенства. Въ ней отразилось то сатирическое направленіе, которое

постоянно проявлялось со временъ Петра. Первымъ баснописцемъ у насъ былъ Хемницеръ, современникъ Державина и Фонвизина,—потому-что опыты Тредьяковскаго и Сумарокова не заслуживаютъ вниманія. Дмитріевъ превосходилъ Химницера достоинствомъ стиховъ, но стоялъ ниже его по содержанію, и въ бо̀льшей части басенъ былъ только переводчикомъ. Наконецъ явился Крыловъ. Въ его басняхъ сатира разширила кругъ своей дѣятельности, явилась многостороннею и разнообразною: она коснулась и общественныхъ недостатковъ, на которые нападали Кантемиръ, Сумароковъ, Фонвизинъ и Капнистъ, и сверхъ-того обратила вниманіе на вопросы, до тѣхъ поръ остававшіеся неприкосновенными. Крыловъ выводитъ на сцену и судью съ *пушкомъ на рыльцѣ*, и невѣжду, разбивающаго очки за то, что не можетъ читать сквозь нихъ, не зная грамотѣ, и *бумажнаго змѣя*, готоваго всю жизнь для забавы другого трещать на привязи, и *собачку Жужу*, попадающую въ случай за умѣнье ходить на заднихъ лапкахъ; у него являются и *медвѣдь*, осужденный за покражу меда въ отставкѣ пролежать въ берлогѣ, и побѣдоносный *булатъ*, забытый посреди стараго хлама, и *бѣлка*, награжденная за службу орѣхами, въ то время когда у нея не стало зубовъ, и *кошка*, заставляющая пѣть соловья въ когтяхъ

своихъ, и *гуси*, гордые заслугами капитолійскихъ предковъ. Часто Крыловъ касается самыхъ великихъ интересовъ народной жизни; рѣшаетъ самые важные общественные вопросы, какъ напримѣръ въ баснѣ *Пушки и Паруса*. Иногда его поэзія, изъ колкой, остроумной, насмѣшливой сатиры, переходитъ въ высокую, благородную, одушевленную пѣсню, подобную державинскимъ гимнамъ Фелицѣ. Такъ, описывая полузавядшій *Василекъ*, оживленный небеснымъ взоромъ солнца, поэтъ восклицаетъ:

О вы, кому въ удѣлъ судьбою данъ
Высокій санъ!
Вы съ солнца моего примѣръ себѣ берите!
Смотрите:
Куда лишь лучъ его достигнетъ, тамъ оно
Былинкѣ ль, кедру ли — благотворитъ равно,
И радость по себѣ и счастье оставляетъ;
Зато и видъ его горитъ во всѣхъ сердцахъ —
Какъ чистый лучъ въ восточныхъ хрусталяхъ,
И все его благословляетъ.

Какъ въ сатирахъ Кантемира, подъ вымышленными именами Хироновъ и Менандровъ, скрывались извѣстныя лица, такъ у Крылова есть басни, гдѣ онъ, въ видѣ животныхъ, выводитъ нѣкоторыхъ изъ своихъ современниковъ, характеризуя ихъ съ удивительной вѣрностью и искусствомъ. Такова басня *Волкъ на псарнѣ*, гдѣ поэтъ оригинально и остроумно изобра-

зилъ отечественную войну и вывелъ Наполеона и Кутузова. .

Произведенія Крылова отличаются высокою художественностью и народнымъ духомъ. Русской поэзіи не доставало элемента, безъ котораго она не могла войти въ тѣсную связь съ общественной жизнію,—въ ней не было народности. У Державина и Фонвизина являлись, правда, нѣкоторыя черты ея, но онѣ были рѣдки и слабы,—а Жуковскій и Батюшковъ, по роду таланта, могли только пересаживать на русскую почву чужое, а не ростить самобытное. Наконецъ Крыловъ обратилъ вниманіе на этотъ животворный элементъ. Онъ первый попытался выразить духъ русскаго народа, показать его умъ и разумъ, его философію и воззрѣніе на жизнь, его завѣтныя думы и чувства,—первый заговорилъ чисто-русскою рѣчью, глубоко доходящею до сердца и проникающею въ его сокровеннѣйшіе тайники. Басни Крылова произвели сильное впечатлѣніе на общество, пронеслись по всей Россіи и сдѣлались педагогическою книгою молодого поколѣнія. Впрочемъ, народность у Крылова довольно тѣсна и одностороння, и скорѣе можетъ быть названа *простонародностью*. Вы видите у него умъ и характеръ, взглядъ и образъ мыслей не всего общества, но только одного слоя, и не находите отвѣта на многіе вопросы, ко-

торые развиваются въ современной жизни. Этотъ односторонній взглядъ на народность и сверхъ-того ограниченность такого рода поэзіи какъ басня, не позволили Крылову занять мѣста, какого онъ заслуживалъ по своему обширному таланту; но какъ сатирикъ, выразившій много народныхъ идей, какъ художникъ, сблизившій нашу поэзію съ народностью— онъ имѣетъ великое значеніе.

Жуковскій, Батюшковъ и Крыловъ составляютъ поэтическій тріумвиратъ, приготовившій появленіе поэта-художника. Одинъ одухотворилъ нашу поэзію романтическими идеями, другой согрѣлъ эстетическими красотами древности, третій оживилъ духомъ народности,— и изъ сѣмянъ благотворныхъ возросло плодоносное и тѣнистое дерево. Явился Пушкинъ.

---

## IV.

## ПУШКИНЪ И ГРИБОѢДОВЪ.

---

Съ именемъ Пушкина соединяется мысль о поэтѣ-художникѣ, котораго произведенія, сливая всѣ животворные источники искусства,

заключаютъ цѣлый міръ жизни и поэзіи. Онъ, можно сказать, поглотилъ идеи всѣхъ предшествовавшихъ поэтовъ, овладѣвъ и романтизмомъ Жуковскаго, и народнымъ духомъ Крылова, и пластическою красотою мысли и стиха Батюшкова,—и всѣ эти элементы разработалъ, развилъ до многосторонняго значенія и совершенства. Но прежде, чѣмъ будемъ говорить о значеніи Пушкина, бросимъ взглядъ на его постепенное развитіе,—посмотримъ, по какимъ ступенямъ восходилъ онъ до той высоты, на которой стоитъ теперь и останется навсегда.

Жизнь Пушкина можно раздѣлить на три эпохи, отличныя одна отъ другой характеромъ его поэтической дѣятельности и важностію созданій. Первый періодъ начинается съ лицейскихъ опытовъ и оканчивается Русланомъ и Людмилою, второй открывается Кавказскимъ Плѣнникомъ и замыкается Евгеніемъ Онѣгинымъ, къ третьему принадлежатъ послѣдніе годы дѣятельности поэта съ появленія Полтавы. Въ первомъ періодѣ характеръ его поэзіи носитъ печать разгульной жизни, дышетъ вакхическимъ весельемъ; во второмъ отличается духомъ разочарованія и притомъ сочувствіемъ къ интересамъ современнаго общества; въ третьемъ становится чисто-художественнымъ, но чуждымъ общественныхъ потребностей и идей. Разсмотримъ эти три эпохи.

Пушкинъ получилъ воспитаніе болѣе свѣтское чѣмъ классическое, болѣе поверхностное чѣмъ достойное его таланта,—и только геніяльный умъ и обширное чтеніе могли отчасти вознаградить ему то потерянное время, когда онъ

Въ садахъ лицея
Читалъ охотно Апулея,
А Цицерона не читалъ.

Будучи еще ученикомъ, онъ сталъ заниматься поэзіею — и началъ съ подражаній. Первыми учителями его были Державинъ и Жуковскій; но заплатя имъ дань во многихъ стихотвореніяхъ, и особенно въ *Воспоминаніяхъ о Царскомъ Селѣ*, онъ скоро оставилъ ихъ далеко за собою. Вмѣсто реторическихъ одъ Державина, въ-послѣдствіи явились у него *Наполеонъ*, *Пиръ Петра Великаго*, гдѣ не воспѣвался уже *громъ побѣдъ*, а говорилось о примиреніи съ великою тѣнью Наполеона и прославлялся подвигъ царя, изрекающаго торжественное прощеніе подданному. Вмѣсто романтическихъ балладъ Жуковскаго, неопредѣленныхъ и туманныхъ, показались наконецъ *Женихъ*, *Бѣсы*, созданія истинно-художественныя, вполнѣ проникнутыя русскимъ духомъ. Элементы Батюшкова и Крылова были такъ же плодотворны для многосторонняго духа Пушки-

на. У одного онъ взялъ пластическую форму мысли и стиха, колоритъ классической древности,—и, не зная греческаго языка, умѣлъ такъ сродниться съ эллинскимъ духомъ, что его *Муза*, *Отрокъ* и другія антологическія стихотворенія, могутъ стоять на ряду съ лучшими произведеніями Шенье. У другого усвоилъ онъ элементъ народности, и развилъ его до такой полноты, что нетолько сдѣлался потомъ народнымъ поэтомъ въ *Утопленникѣ* и другихъ піесахъ, но даже возвысился въ послѣдствіи до многосторонней національности. Впрочемъ, не эти одни поэты имѣли вліяніе на Пушкина въ первомъ періодѣ его жизни. Въ одномъ изъ посланій онъ исчисляетъ любимыхъ писателей, своихъ *парнасскихъ жрецовъ*,—и мы находимъ здѣсь Богдановича, Лафонтена, Вержье, Парни, *злаго крикуна фернейскаго*, и наконецъ *сафьянную тетрадь*, въ которой заключались — *пѣвецъ Буянова* и другія *сочиненія презрѣвшія печать*.

Понятно, какое вліяніе произвело короткое знакомство съ такими писателями на юношу, едва начинавшаго жить, горячаго, пылкаго, который не получилъ прочнаго умственнаго и нравственнаго воспитанія, и на первомъ шагу въ свѣтъ попалъ въ кругъ разгульной молодёжи. Вольтеръ, Парни, и особенно послѣдній, сдѣлались его поэтическими корифеями,—

и онъ заплатилъ имъ дань во многихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ. Его *Леда*, *Фавнъ* и *Пастушка* написаны подъ ихъ вліяніемъ и отличаются тѣмъ же вакхическимъ весельемъ и сладострастіемъ. Впрочемъ, въ самыхъ подражаніяхъ Пушкинъ былъ великъ и нерѣдко превосходилъ своихъ образцовъ; его *Прозерпина*, переведенная изъ поэмы Парни Les Déguisements de Vénus, отличается такими красками, какихъ вовсе нѣтъ въ подлинникѣ. Это вліяніе было довольно продолжительно, — и хотя въ-послѣдствіи Пушкинъ началъ мало-помалу освобождаться отъ него, хотя послѣ подражаній Парни начали появляться художественныя созданія *Вакхическая пѣсня*, *Торжество Вакха*, и онъ отъ цинизма автора La Guerre des dieux перешолъ къ дѣвственной, античной музѣ Шенье, — однако слѣды французской школы долго не могли совершенно изгладиться, и отражались даже на позднѣйшихъ его произведеніяхъ. Послѣднимъ прощаньемъ съ этой школою была первая его поэма *Русланъ и Людмила*, въ которой вполнѣ высказалось вліяніе Парни, Аріоста, Лафонтена и Богдановича. Эта піеса была ничто иное какъ сказка, въ родѣ аріостова Orlando furioso, и содержаніемъ ея послужили искажонныя преданія, въ которыхъ не было ничего русскаго. Впрочемъ, самые недостатки

этой поэмы служили къ ея славѣ: юношеская неопытность и увлеченіе, веселыя картины, неистощимая шутка и страсть къ пародіи, все способствовало успѣху ея въ обществѣ, какъ нѣкогда шуточной сказкѣ Богдановича. Несмотря на всѣ недостатки этого незрѣлаго произведенія, оно составило эпоху въ нашей литературѣ, разсѣяло послѣдніе остатки классицизма и произвело кровопролитную войну между старымъ и новымъ поколѣніемъ. Будучи слабѣйшимъ произведеніемъ Пушкина, Русланъ и Людмила имѣетъ важное значеніе въ исторіи нашей поэзіи, какъ послѣдняя его дань французской эпикурейской школѣ и первый шагъ къ извѣстности и славѣ. Она пріобрѣла ему лестное вниманіе публики, страстную любовь молодого поколѣнія и ожесточонныя нападки старообрядцевъ-журналистовъ. Съ другой стороны эта поэма была послѣднимъ явленіемъ того періода жизни Пушкина, въ который онъ водилъ свою музу на шумныя пиршества, гдѣ она *разсыпала дары свои*,

И какъ вакханочка рѣзвилась,
За чашей пѣла для гостей,
И молодежь минувшихъ дней
За нею буйно волочилась.

Періодъ этотъ, несмотря на вредное вліяніе даже на послѣдующую жизнь Пушкина, былъ

явленіемъ необходимымъ и естественнымъ. Чувственная жизнь стараго поколѣнія французскаго общества, шумно довершавшаго свою вакханалію въ виду гильётины, должна была отразиться до нѣкоторой степени и на русскомъ обществѣ; а потому и въ нашей поэзіи не могли не явиться слѣды того легкомысленнаго увлеченія наслажденіями, которымъ запечатлѣны сочиненія Парни, Вольтера и другихъ представителей французскаго XVIII вѣка. Этотъ-то элементъ, проявлявшійся въ Богдановичѣ и отчасти въ Батюшковѣ, отразился на юношескихъ произведеніяхъ Пушкина, а въ-послѣдствіи нашолъ новыхъ представителей въ Языковѣ и Полежаевѣ, и у послѣдняго сдѣлался господствующею стихіею, смѣшавшись съ алчною потребностью къ буйной жизни и русскимъ беззавѣтнымъ разгуломъ.

Съ *Кавказскаго Плѣнника* начался новый періодъ дѣятельности Пушкина подъ вліяніемъ перваго современнаго генія,—Байрона, знаменитѣйшаго поэта нашего времени.

Байронъ былъ величайшимъ представителемъ европейскаго общества XIX вѣка. Его поэзія есть яркое выраженіе того состоянія, въ которомъ находилось тогда человѣчество, отказавшееся отъ своего прошедшаго и устремившееся къ новой жизни,—вѣрное зеркало того ужаснаго хаоса, гдѣ оно вращается посре-

ди тьмы, безпорядка, сомнѣнія, отчаянія и проблесковъ неопредѣленной надежды,—хаоса, возникшаго въ-слѣдствіе разрушенія старыхъ общественныхъ началъ и стремленія къ новымъ идеямъ, долженствовавшимъ пересоздать общество. Она возникла изъ философіи XVIII столѣтія, послѣ страшнаго потрясенія, испытаннаго Европою отъ французской революціи. Общество, сознавъ свои вѣковыя заблужденія и чувствуя потребность новаго существованія, съ жаромъ устремилось къ перерожденію, но разрушая старыя общественныя основы и отказываясь отъ своего прошедшаго,—оно не находило между-тѣмъ ни одной точки опоры, на которой могло бы утвердить свое будущее. Тогда возникъ хаосъ, гдѣ все явилось въ смятеніи, гдѣ свѣтъ, оживлявшій прежнее общество, погасъ, а на мѣсто его не являлось еще ни одного луча, который согрѣлъ бы сердца и освѣтилъ умы. Что̀ же могло быть слѣдствіемъ такого состоянія? Духъ человѣческій, не находя осуществленія своихъ пламенныхъ желаній и тяжкихъ усилій, впалъ въ сомнѣніе, отрицаніе и отчаяніе; но̀ въ то же время, по вѣчнымъ законамъ промысла, не переставалъ стремиться къ будущему, предчувствуя, что скоро должна блеснуть на горизонтѣ та путеводная звѣзда, которая приведетъ его къ истинѣ и спасенію. Байронъ былъ представи-

телемъ этого общественнаго кризиса. Его поэзія раздалась надгробной пѣснію по умершему міру, и въ то же время въ ней слышалось что-то предвѣщающее рожденіе новой жизни. Съ одной стороны она отразила страшное отчаяніе, возникшее въ-слѣдствіе неосуществленія общественныхъ надеждъ, горькое презрѣніе къ обществу, представляющему дряхлый міръ, къ вѣрованіямъ, разрушеннымъ философіею; съ другой стороны—въ ней проявилась пламенная любовь къ природѣ и тому, что̀ есть высокаго и прекраснаго въ человѣчествѣ независимо отъ его современнаго состоянія. Отъ-того поэзія Баіірона является двойственною: въ немъ мы видимъ поэта, который ненавидитъ общество и любитъ природу и человѣка. Съ одной стороны у него видна глубокая непріязнь къ общественнымъ постановленіямъ и вѣрованіямъ, отрицаніе всѣхъ политическихъ и нравственныхъ началъ, ненависть къ тѣмъ принципамъ, которые господствовали цѣлые вѣка; съ другой стороны—въ немъ является горячая привязанность къ природѣ, пламенная любовь къ искусствамъ, сердце глубоко страдающее общественными недугами и полное сочувствія къ человѣку. Нѣтъ ничего несправедливѣе мнѣнія, будто Байронъ былъ ненавистникомъ человѣчества, сатаною—какъ назвалъ его Ламартинъ.

Онъ всего лучше самъ опровергаетъ этотъ нелѣпый судъ, говоря, что «бѣжать людей не значитъ ненавидѣть ихъ.» Въ самомъ дѣлѣ, если Байронъ презираетъ человѣчество, такъ это только за его настоящее несовершенство, за его медленное развитіе. Посмотрите, какъ пламенно любилъ онъ Испанцевъ и Грековъ, какія рѣчи, полныя энтузіазма, выливались изъ души его, когда онъ обращался къ послѣднимъ, какими громами разилъ онъ властолюбіе Наполеона, и какой любовью къ благородной сторонѣ человѣчества и къ искусству согрѣты лучшія мѣста Чайльдъ-Гарольда! Вспомните, съ какою горячностью любилъ онъ природу и какъ благоговѣлъ предъ ея творцомъ, говоря о чувствахъ, которыя наполняли его душу, когда онъ слышалъ звуки Ave Maria [11]. Не онъ ли сказалъ: «кто не любитъ отечества, тотъ не можетъ любить ничего на свѣтѣ!» Развѣ не пламенно любилъ онъ природу въ *Чайльдъ-Гарольдѣ*, развѣ не обожалъ отечества въ *Двухъ Фоскари*? развѣ во всѣхъ произведеніяхъ его не видимъ глубокаго сочувствія къ человѣку и созданіямъ искусства? Если Байронъ, смотря съ отчаяніемъ на жалкое состояніе общества, медленное развитіе его жизни и совершенства, восклицалъ съ негодованіемъ: люди, какъ вы жалки со всѣми вашими надеждами! — то онъ же гово-

рилъ, уповая на лучшую будущность человѣчества: «придетъ время, когда свѣтъ ярко блеснетъ намъ въ очи, когда господство меча пройдетъ, и поработители, подобные Наполеону, сдѣлаются невозможными», и восклицалъ:

So perish all,
Who would men by man enthrall! [12].

Негодованіе и презрѣніе Байрона не простирается на все человѣчество; напротивъ, онъ любитъ его, страдаетъ его страданіями, живетъ его надеждами, и, ненавидя, презирая общество за униженіе, призываетъ его къ новой жизни и счастію. Всякая строка Байрона дышетъ или любовью къ человѣку, или ненавистью къ обществу, въ каждомъ словѣ видно благоговѣніе къ божественному происхожденію человѣка и презрѣніе къ тому состоянію униженія, до котораго доведенъ онъ своимъ ослѣпленіемъ. Ни въ одномъ поэтѣ вы не встрѣтите столько участія и любви къ человѣчеству, какъ въ Байронѣ. Такимъ образомъ, поэзія его не есть пѣснь одного отчаянія, но и гимнъ надежды: если онъ разрушаетъ старое, то для того только, чтобъ очистить мѣсто новому, если, подобно Прометею, прикованъ къ землѣ, зато очи его всегда устремлены на небо. Вотъ причина двойственности Байрона, источникъ того отчаянія и надежды, энтузіазма и

презрѣнія, насмѣшки и слезъ, гордости и любви, проклятія и молитвы, которыми запечатлѣна вся его поэзія. Если съ одной стороны отъ нея вѣетъ могильнымъ холодомъ, то съ другой она благоухаетъ свѣжестію новой жизни, *предвкушеніемъ неба* (foretaste of heaven). Она похожа на костеръ феникса, на которомъ старое, одряхлѣвшее общество сожигаетъ себя со всѣми своими принципами, но въ которомъ изъ пепла должно возникнуть новое общество, съ новыми свѣтлыми идеями, для новой блистательной жизни...

Вотъ значеніе Байрона, *гармоническаго пѣвца страданій* — какъ называетъ его Барбье. Этому-то могучему, дивному генію подчинился Пушкинъ въ самыя цвѣтущія лѣта своей молодости.

Какъ Державинъ не понялъ философіи и поэзіи XVIII вѣка, такъ и Пушкинъ не могъ понять Байрона. Родясь въ такомъ обществѣ, которое до временъ Петра жило совершенно-отдѣльною отъ другихъ народовъ жизнію, а съ эпохи преобразованія начало новое существованіе, гдѣ были совершенно-иные недостатки и страданія,—Пушкинъ не могъ понимать той ужасной болѣзни, какою томилось общество европейское, не могъ питать къ нему той неумолимой ненависти и презрѣнія, какія кипѣли въ душѣ британскаго пѣвца, рож-

деннаго посреди самаго просвѣщоннаго народа, не могъ проливать тѣхъ горькихъ, кровавыхъ слезъ, какими плакалъ Байронъ. Общество русское не было похоже на европейское, и если въ то время въ самой Европѣ не оцѣнили еще значенія пѣвца Чайльдъ-Гарольда, и называли его главою *сатанинской школы*, то, разумѣется, Пушкинъ совсѣмъ не въ-состояніи былъ понять его. Онъ не находилъ идеи въ *Манфредѣ*, а въ *Мазепѣ* видѣлъ только «картину связаннаго человѣка». Не постигая, такимъ образомъ, идей британскаго пѣвца, возникшихъ изъ его мощнаго духа, не находившаго удовлетворенія въ общественной жизни, Пушкинъ увлекся однако обаятельною силою его генія, и долго—какъ самъ признаётся—«сходилъ съ ума отъ Байрона». Что̀ же могъ онъ вынести изъ своей любви къ нему?—Онъ плѣнился только разочарованнымъ и гордымъ характеромъ его героевъ, мрачнымъ колоритомъ картинъ и свободною легкостью формы. Явился *Кавказскій плѣнникъ*.

Герой этой поэмы былъ блѣдною копіею того страшнаго лица, которое выводилъ Байронъ подъ именами Гяура, Альпа, Лары, Конрада,—того отступника отъ общества, который бѣжалъ людей, не находя посреди нихъ пищи для гордой души и необузданныхъ страстей. Это титаническое лицо явилось у Пушкина также

отступникомъ отъ общества, но мелкимъ и ничтожнымъ юношею, обманутымъ любовью и дружбою и вздыхающимъ о томъ, что

Жизни молодой
Давно утратилъ сладострастье.

Героиня была также копіею съ байроновскихъ женщинъ и напоминала Гюльнару, хотя впрочемъ вышла удачнѣе Плѣнника. Несмотря на блѣдность лицъ, неестественность и слабость содержанія, Кавказскій Плѣнникъ произвелъ большое впечатлѣніе, усиленное еще поэтическими обстоятельствами жизни самого поэта, сдѣлавшагося въ молодыхъ лѣтахъ предметомъ всеобщаго вниманія и изучавшаго на мѣстѣ обычаи Горцевъ и красоты Кавказа.

Быстро слѣдовали одна за другою поэмы *Бахчисарайскій фонтанъ*, *Братья-разбойники*, *Цыганы*,—и всѣ носили слѣды байроновскаго вліянія. Въ первой піесѣ все было чужое, и Зарема, срисованная съ Гюльбеи, и Марія, блѣдное подобіе Франчески, и самое описаніе гарема, написанное подъ вліяніемъ пятой пѣсни Донъ-Жуана; во второй — русскіе разбойники превратились въ неестественныхъ злодѣевъ, и въ самомъ содержаніи, представлявшемъ столько народнаго, не было почти ничего русскаго, кромѣ стиховъ и оборотовъ, заимствованныхъ изъ старинныхъ пѣсенъ. Но ни одна поэма Пуш-

кина не потерпѣла такъ много отъ вліянія Байрона, какъ Цыганы. Алеко, герой этой повѣсти, чрезвычайно страненъ и неестественъ; его можно назвать пародіею на тѣхъ отступниковъ общества, которыхъ такъ любилъ Байронъ. Поэтъ хотѣлъ изобразить въ Алеко образованнаго и пылкаго человѣка, недовольнаго свѣтомъ и его стѣснительными условіями,—и заставилъ его бѣжать въ цыганскій таборъ, два года бродить съ грубыми дикарями, влюбиться въ чувственную и невѣжественную женщину и шататься по деревнямъ съ медвѣдемъ. Этотъ человѣкъ, который ненавидитъ общество и призираетъ свѣтъ, гдѣ

Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ и цѣпей,

заражонъ, между-тѣмъ, всѣми его пороками и недостатками и, говоря великолѣпными фразами о свободѣ, самъ напитанъ неограниченнымъ деспотизмомъ и даже въ цыганскій таборъ приноситъ эгоизмъ и нетерпимость. Ясно, что Пушкинъ, проникнутый чтеніемъ Байрона, силился изобразить лицо, подобное его мрачнымъ героямъ, но не понимая идеи байроновскаго разочарованія, представилъ какой-то фантастическій призракъ, уродливый и неестественный. Въ Плѣнникѣ характеръ разочарованнаго былъ только блѣденъ, въ Цыганахъ онъ совершенно-неестественъ.

Форма всѣхъ этихъ поэмъ была также байроновская; онѣ отличились той-же самой манерою, были наполнены лирическими отступленіями, въ нихъ являлись пѣсни Горцевъ, Татаръ, Цыганъ, какъ у Байрона греческія и испанскія пѣсни въ Донъ-Жуанѣ и Чайльдъ-Гарольдѣ.

Что же было причиною огромнаго успѣха этихъ поэмъ?—Живописныя картины природы, описанія Кавказа и Крыма, цыганскаго табора и горскаго аула, новость и легкая простота формы, живость красокъ и неслыханная сила и гармонія стиховъ,—вотъ достоинства этихъ произведеній Пушкина. Вліяніе на нихъ Байрона было благодѣтельно тѣмъ, что еще болѣе сблизило нашего поэта съ востокомъ, любимою страною музы британскаго пѣвца, но пагубно въ томъ отношеніи, что Пушкинъ, не понимая Байрона, взялъ у него героевъ чуждыхъ нашему обществу, и отъ-того лишилъ свои произведенія истины, сдѣлавъ ихъ блѣдными копіями съ недоступныхъ для него образцовъ.

Въ эту эпоху дѣятельности Пушкинъ увлекъ за собою толпы подражателей. Замѣчательнѣйшими изъ нихъ были—Козловъ, рабскій поклонникъ Байрона, понимавшій его еще менѣе, нежели авторъ Кавказскаго Плѣнника; Подолинскій, послѣдователь Мура, по-

дражавшій его поэмѣ Lalla Rookh, и наконецъ Баратынскій, котораго поэзія была нечужда мысли, но отличалась болѣе холоднымъ умомъ, чѣмъ горячей душою и воображеніемъ.

Къ этому періоду жизни Пушкина принадлежитъ и *Евгеній Онѣгинъ*. Эта поэма не есть уже безусловное подражаніе Байрону, но произведеніе, написанное только подъ его вліяніемъ; въ ней Пушкинъ, платя послѣднюю дань современному генію, является съ другой стороны поэтомъ самобытнымъ и возвышается до національности. Въ Кавказскомъ Плѣнникѣ и Алеко мы видѣли блѣдныя копіи съ исполинскихъ героевъ Байрона, въ Заремѣ, Черкешенкѣ и Маріи являлись подобія байроновскихъ женщинъ; но въ Онѣгинѣ и Татьянѣ поэтъ въ первый разъ показалъ лица русскія, хотя въ характерѣ перваго и отзывалось еще вліяніе британскаго пѣвца. Во всѣхъ прежнихъ поэмахъ Пушкинъ, не постигая идеи байроновскаго разочарованія, переносилъ его въ свои произведенія безъ всякаго отношенія къ русскому обществу. Въ Онѣгинѣ главная основа также разочарованіе, но оно имѣетъ уже идею, хотя слабую и одностороннюю, но взятую изъ самой русской жизни. Мы говорили, что наше общество, неподвижное до временъ Петра, и быстро стремившееся къ новой жизни съ эпохи преобразованія, не походило на обще-

ство европейское, которое пережило столько столѣтій постепеннаго развитія, видѣло столько кризисовъ, и не нашло отвѣта на вопросы, возникшіе въ XVIII вѣкѣ. У насъ не могло существовать разочарованія, которое родилось въ-слѣдствіе противодѣйствія, встрѣченнаго стремленіемъ духа въ недостаткѣ матеріяльныхъ средствъ и неразвитіи цивилизаціи; а отъ-того и байроновское разочарованіе, перенесенное на русскую почву, вышло въ поэмахъ Пушкина блѣднымъ и неестественнымъ. Но въ этомъ разочарованіи была одна сторона, конечно жалкая и печальная, — это пресыщеніе сердца жизненными благами, апатія, рождаемая истощеніемъ силъ въ вихрѣ свѣтской жизни, такъ ярко выраженныя Байрономъ въ первыхъ строфахъ Чайльдъ-Гарольда. Такой видъ разочарованія существовалъ и въ русскомъ обществѣ; ему подвергся въ молодости и самъ Пушкинъ. Понятно, что пылкій умъ и сильная душа, увлеченныя свѣтскою жизнію, блестящими забавами и удовольствіями, должны были скоро почувствовать пустоту и пресытиться тѣмъ, что льстило однѣмъ только чувствамъ, а потому духъ впадалъ въ изнеможеніе и охладѣвалъ къ свѣту и обществу. Это разочарованіе выразилъ Пушкинъ въ Онѣгинѣ, и если въ его романѣ видны слѣды Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана, зато онъ

не есть уже одно подражаніе, но вѣренъ и обществу русскому.

Пушкинъ начинаетъ Евгенія Онѣгина, такъ-же какъ Байронъ Донъ-Жуана, описаніемъ воспитанія своего героя, и, подобно Байрону, пишетъ сатиру на воспитаніе. Въ чемъ же состояло приготовленіе Онѣгина къ жизни? Дѣтство онъ провелъ сперва подъ надзоромъ *madame*, потомъ подъ руководствомъ *monsieur*, учился всему слегка, и наконецъ выступилъ въ свѣтъ моднымъ *dandy*...

Онъ по-французски совершенно
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцовалъ,
И кланялся непринужденно.
Чего-жъ вамъ больше? свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ уменъ и очень милъ.

Съ этимъ-то образованіемъ, зная вполнѣ *науку страсти* и обольщенія, бросился онъ въ свѣтъ и предался съ увлеченіемъ его *однообразной и пустой жизни*. Но одаренный отъ природы свѣтлымъ умомъ и пылкой душою, Онѣгинъ скоро пресытился свѣтскими удовольствіями; ежедневная разсѣянность и излишества притупили въ немъ чувства, и онъ *охладѣлъ къ жизни*. *Томясь душевной пустотой*, онъ принялся за чтеніе, но при своемъ жалкомъ воспитаніи, могъ ли ожидать успокоенія въ объятіяхъ науки? Книги надоѣли ему, такъ-

же какъ женщины, и онъ—pétri de vanité—возненавидѣлъ все на свѣтѣ. Въ этой части романа Пушкинъ подражалъ Байрону. Ясно, что Онѣгинъ родня Гарольду: онъ, подобно ему, предается буйной жизни, находитъ въ ней одну только пустоту и удаляется отъ свѣта [13]. Но здѣсь и оканчивается сходство между ними. Чайльдъ-Гарольдъ, жертва пресыщенія, полонъ однако страстной любви къ природѣ, горячо любитъ созданія искусства, пламенно сочувствуетъ человѣчеству и его свободѣ и, не находя пищи для души въ обществѣ, утоляетъ жажду въ объятіяхъ природы и передъ великими образцами человѣческаго творчества. Его плѣняетъ и красота испанокъ, и дивныя историческія воспоминанія на поляхъ Греціи, и произведенія искусства въ Италіи, и памятники рыцарства въ Германіи. Надъ безднами Альповъ и на берегахъ Рейна, въ стѣнахъ Колизея и подъ куполомъ Св. Петра, предъ статуею Лаокоона и предъ Парнассомъ, онъ забываетъ настоящее общество, живетъ славными воспоминаніями прошедшаго и зоветъ народы къ новой жизни. Онѣгинъ не таковъ; это *москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ*—какъ говоритъ самъ поэтъ. Отказавшись отъ свѣта, пресытясь буйной жизнію, онъ запирается въ деревнѣ, купается тамъ въ холодной ваннѣ, съ утра до вечера гоняетъ

шары на билліардѣ и, не находя пищи въ обществѣ и наукѣ, нетолько не видитъ ничего привлекательнаго въ природѣ, которая кажется ему пустою, какъ *глупая луна на глупомъ небосклонѣ*, но даже начинаетъ ненавидѣть самое человѣчество. Поэтъ, оправдывая его, говоритъ:

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей.

Такая выходка несправедлива, когда дѣло идетъ объ Онѣгинѣ. За что́ необразованному Евгенію презирать людей? Развѣ общество виновато было въ томъ, что онъ, не получа никакого воспитанія, истощивъ сердце въ развратѣ и роскоши, не находилъ ни въ чемъ пищи охлажденной душѣ. Въ современникахъ Пушкина это разочарованіе возбуждало участіе, намъ оно кажется смѣшнымъ и презрѣннымъ... Итакъ, хотя въ созданіи характера Онѣгина видно вліяніе Байрона, однако это уже не простая копія съ картины автора Донъ-Жуана, а произведеніе, начертанное только подъ его руководствомъ. Если въ прежнихъ поэмахъ Пушкинъ былъ ничто-иное какъ ученикъ, чертившій смѣлою, но неопытной рукою копіи съ картинъ любимаго профессора и не понимавшій его идеи,—то въ Онѣгинѣ онъ самъ становится великимъ мастеромъ

и часто достигаетъ высоты своего учителя. Какъ Чайльдъ-Гарольдъ до конца остается вѣрнымъ своему характеру, страстно любитъ природу и человѣчество въ его доблестныхъ дѣяніяхъ и произведеніяхъ творчества, такъ и Онѣгинъ ни въ чемъ не противорѣчитъ своему непрочному воспитанію и недостатку убѣжденій, своей ненависти къ свѣту и рабской покорности его приличіямъ и законамъ.

Пушкинъ, сравнивая Евгенія то съ Чайльдъ-Гарольдомъ и Донъ-Жуаномъ, то съ самимъ Байрономъ, говоритъ, что не думалъ изображать въ немъ своего портрета. Не будучи *издателями замысловатой клеветы*, мы однакожъ находимъ черты характера поэта въ характерѣ его героя, или, лучше сказать, героевъ, потому-что и Ленскій и Онѣгинъ напоминаютъ самого Пушкина. Въ Ленскомъ, можетъ-быть и невольно, изобразилъ онъ свою юность,—то пылкое время, когда онъ кипѣлъ *негодованіемъ къ злу, любовью къ благу и сладкимъ мученьемъ славы*. Эта юношеская пылкость была убита въ немъ горькимъ разочарованіемъ, истощеніемъ сердца и души въ шумныхъ, но безплодныхъ удовольствіяхъ свѣта, какъ Ленскій убитъ Онѣгинымъ. Дуэль, описанная въ романѣ, изображаетъ аллегорически ту минуту въ жизни Пушкина, когда охлажденіе убило въ немъ пылкія мечты юности.

Разсматривая содержаніе Евгенія Онѣгина, трудно понять, какъ могъ поэтъ развить изъ него такой обширный романъ. Но глубокое изученіе русской жизни въ различныхъ слояхъ общества, въ большомъ свѣтѣ столицы и въ глуши провинціи, въ великолѣпной модной залѣ и скромной деревенской усадьбѣ, представило ему обширную канву, — и онъ выткалъ на ней великолѣпную картину, въ которой самая высокая драма смѣшана съ самымъ увлекательнымъ комизмомъ, мастерское созданіе характеровъ соперничаетъ съ художественнымъ изображеніемъ природы, а грустное и веселое, смѣшное и ужасное, трогательное и поразительное, ода и эпиграмма, элегія и сатира, на всякомъ шагу смѣшиваются, переплетаются, и всякій разъ составляютъ новыя и разнообразныя сочетанія. Только одинъ Донъ-Жуанъ Байрона можетъ соперничать съ этимъ оригинальнымъ, игривымъ, роскошнымъ созданіемъ. Главная идея, сосредоточенная въ основѣ романа и проведенная сквозь малѣйшія его нити, есть сатира на пустоту свѣта, со всѣми его приличіями и условіями, мнѣніями и приговорами. Эта идея — судьба драмы. Около нея все вращается, — и Евгеній, который бѣжитъ отъ общества, ненавидитъ людей, но дорожитъ общественнымъ мнѣніемъ и боится клеветы негодяя Зарѣцкаго; и Ленскій, ко-

торый понимаетъ ничтожную причину размолвки съ пріятелемъ, но не хочетъ мириться съ нимъ, боясь осужденія глупповъ; и Татьяна, которая любитъ Онѣгина, презираетъ свѣтъ и отгоняетъ милаго человѣка только для-того, чтобъ не надѣлать соблазнительнаго шума въ обществѣ. Все это основано на приличіяхъ свѣта и служитъ злою на него сатирою. Говорить ли о мастерскомъ изображеніи характеровъ въ Онѣгинѣ? — они прекрасны, художественны. Съ какимъ дивнымъ искусствомъ начертаны — Ленскій, типъ простодушнаго мечтательнаго юноши, съ идеями о вольности и восторженной рѣчью о прекрасномъ, Евгеній, русскій Гарольдъ, жертва заблужденій и необузданныхъ страстей, Оленька, простенькая деревенская барышня, будущая мать и хозяйка! Но всего изумительнѣе лицо Татьяны. Это уже не сколокъ съ байроновскихъ гречанокъ, но русская женщина со всѣми ея достоинствами и недостатками, сначала типъ деревенской барышни, напитанной чтеніемъ романовъ, страстной, наивной, мечтательной, суевѣрной, потомъ живой портретъ свѣтской дамы, покорной условіямъ приличія и умѣющей затаить подъ свѣтской маскою всѣ чувства и страсти.

Такимъ образомъ, Онѣгинъ былъ послѣднею данью, принесенною Пушкинымъ Байрону, и первымъ шагомъ къ новому самобытному на-

правленію. Что же въ этой поэмѣ заимствованное и что оригинальное? Изображеніе русскаго общества на различныхъ его ступеняхъ, характеры всѣхъ лицъ, кромѣ Евгенія, великолѣпныя картины русской природы и нравовъ, и наконецъ самая идея романа,—все это принадлежитъ Пушкину и составляетъ переходъ къ самобытному его творчеству. Съ другой стороны — характеръ Онѣгина и нѣкоторые эпизоды романа созданы подъ вліяніемъ Чайльдъ-Гарольда и Донъ-Жуана. Разговоръ Онѣгина съ Ленскимъ во время возвращенія отъ Лариныхъ, напоминаетъ отъѣздъ Донъ-Жуана изъ Испаніи; въ самомъ письмѣ Татьяны есть сходство съ письмомъ Юліи, хотя въ послѣднемъ болѣе чувства и знанія женскаго сердца, что зависитъ впрочемъ отъ-того, что первое пишетъ невинная русская дѣвушка, а второе страстная испанка, для которой «любовь составляетъ цѣлую жизнь.» Что касается до формы романа, то она совершенно байроновская, и носитъ самую яркую печать чтенія Донъ-Жуана. Безпрестанные переходы отъ одного чувства къ другому, отъ насмѣшки къ горькому отчаянію, отъ грусти къ искренней веселости, отъ трагическаго къ комическому, отъ мадригала и оды къ эпиграммѣ и сатирѣ; безпрерывное вмѣшательство личности поэта въ судьбу изображаемыхъ лицъ, сліяніе соб-

ственныхъ чувствъ съ чувствами его героевъ,— все это разительно нопоминаетъ байронова Донъ-Жуана. Но здѣсь вліяніе британскаго пѣвца не вредитъ уже Пушкину, какъ въ прежнихъ его поэмахъ: рисуя Онѣгина чертами Чайльдъ-Гарольда, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ остается вѣрнымъ русскому обществу, а подражая въ формѣ и способѣ изложенія Донъ-Жуану, часто борется съ Байрономъ и нерѣдко равняется съ нимъ въ разнообразіи и игривости. Вообще, Евгеній Онѣгинъ есть величайшее произведеніе Пушкина и превосходитъ по идеѣ и оригинальности все написанное имъ въ-послѣдствіи, и хотя онъ сдѣлалъ потомъ бо́льшой шагъ впередъ въ художественномъ отношеніи, но никогда уже не былъ такъ современенъ и національнен, какъ въ этомъ романѣ.

Наконецъ есть у Пушкина третья эпоха дѣятельности, когда онъ совершенно освобождается изъ-подъ вліянія Байрона и является самобытнымъ художникомъ. Постоянное знакомство съ Шенье, имѣвшимъ благодѣтельное вліяніе на пластическую сторону его таланта и особенно на антологическія стихотворенія, чтеніе Вальтеръ-Скотта, обратившаго его къ исторіи, и Мицкевича, изъ котораго онъ началъ переводить въ послѣднее время [14], наконецъ изученіе Шекспира, и да-

же передѣлка его драмы *Measure for measure* въ поэмѣ *Анжело*,—все необходимо должно было отвлечь Пушкина отъ того поэта, которымъ онъ увлекся въ годы пылкой молодости, не имѣя съ нимъ почти ничего общаго. *Полтава* была первымъ произведеніемъ, совершенно свободнымъ отъ вліянія Байрона. Несмотря на слабость плана и невыдержанность дѣйствія, несмотря на то что въ поэмѣ слиты двѣ совершенно отдѣльныя повѣсти—любовь Маріи и Мазепы и борьба Петра Великаго съ Карломъ XII — она была первымъ вполнѣ-самобытнымъ созданіемъ Пушкина. За нею слѣдовалъ *Борисъ Годуновъ*. Эта піеса, превосходя неизмѣримо Полтаву въ художественномъ отношеніи и открывая въ Пушкинѣ талантъ драматическій, напоминаетъ объ изученіи Шекспира и похожа въ манерѣ и тонѣ на его *хроники*; но она отличается большими недостатками, въ которыхъ виноватъ, впрочемъ, не столько талантъ поэта, сколько поверхностное воспитаніе, не приготовившее его къ исторической дѣятельности и недостаточная обработка русской исторіи въ то время, когда онъ началъ Годунова. Написанная по *Исторіи Государства Россійскаго* Карамзина, по его взгляду на характеръ эпохи и важнѣйшихъ ея представителей, трагедія является ложною въ самомъ основаніи. Ошибочное понятіе о харак-

терахъ Бориса и Самозванца уничтожаютъ ея достоинство. Одинъ представленъ какимъ-то малодушнымъ и робкимъ злодѣемъ; другой является то хвастуномъ, то опрометчивымъ мальчикомъ, иногда думаетъ обмануть умныхъ Поляковъ и хитрыхъ іезуитовъ, иногда признаётся въ своемъ обманѣ, и на свиданіи съ Мариною умоляетъ ее *не презирать младаго самозванца*. Прекрасныя частности, мѣстами колоритъ народности и вѣрное воспроизведеніе древняго быта составляютъ достоинство трагедіи; а ложное понятіе объ исторической эпохѣ, невѣрный взглядъ на Годунова и неестественность характера Самозванца нетолько не могутъ поставить этой піесы въ сравненіе съ историческими драмами Шекспира, но даже и на ряду съ лучшими произведеніями Пушкина. Онъ самъ заранѣе сомнѣвался въ успѣхѣ Годунова, говоря, что не имѣетъ уже для публики «главной привлекательности, молодости и новизны литературнаго имени». Это несправедливо: причина—какъ увидимъ послѣ—была совсѣмъ иная.

Но величайшимъ произведеніемъ Пушкина въ эту эпоху жизни былъ *Каменный Гость*, который, вмѣстѣ съ Онѣгинымъ, составляетъ два драгоцѣннѣйшіе перла въ поэтическомъ вѣнцѣ его. Если въ Евгеніи Онѣгинѣ мы видимъ разнообразную картину, полную истины

и жизни, гдѣ вѣрность рисунка, красота фигуръ, прелесть ландшафтовъ, свѣжесть и переливы красокъ приводятъ въ изумленіе, несмотря на то, что одно изъ лицъ перваго плана, экспрессія и колоритъ напоминаютъ британскаго художника; то Каменный Гость представляетъ дивную мраморную группу, простую, какъ созданія греческихъ ваятелей, и изумительно-прекрасную при своей простотѣ, гдѣ всѣ фигуры и подробности образуютъ одно цѣлое, вполнѣ оконченное и довершонное.

Эта небольшая драма написана съ тѣмъ глубокимъ знаніемъ жизни и сокровенныхъ пружинъ человѣческой души, и вмѣстѣ — съ тою безъискусственною компановкою сценъ и осязательною выпуклостію образовъ, съ тою мягкостію и прозрачностью мрамора, какими отличаются созданія Эсхила. Идея поэмы весьма проста: это неизбѣжная гибель порока, увлекаемаго въ бездну страстями, но она облечена въ такіе очаровательные образы, которые заставляютъ невольно забыть ея дѣтскую простоту. Какъ вѣрны и высоки характеры Лауры, доньи Анны и дерзкаго обольстителя Донъ-Жуана! Всѣ они выдержаны съ начала до конца, отличаются самою высокою художественностью, изумительнымъ искусствомъ выполненія, и, являясь цѣломудренно-обнажонными, составляютъ самую очаровательную группу,

напоминающую лучшія созданія классической эллинской музы.

Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ и въ эту эпоху жизни Пушкинъ былъ совершенно свободенъ отъ посторонняго вліянія. Вмѣстѣ съ Байрономъ явился въ Англіи поэтъ, котораго муза повела человѣчество въ его прошедшую жизнь, развертывая свитки давно-забытыхъ дѣяній, воскрешая старинные нравы, освѣщая темныя развалины былого, — это былъ Вальтеръ-Скоттъ. Его поэзія возникла изъ одного источника съ поэзіею Байрона, изъ потребности перерожденія общества и необходимости ознакомиться съ его минувшею жизнію. Въ произведеніяхъ Вальтеръ-Скотта, какъ въ чистомъ зеркалѣ, отразилось старое общество, для-того чтобъ стать наряду съ новымъ и показать преимущества и недостатки того и другого,— и романы его встрѣчены были съ восторгомъ и нашли у всѣхъ народовъ подражателей. У насъ потребность въ изученіи старой жизни была также необходима, а потому историческій романъ принялся скоро и удачно. Вслѣдъ за *Юріемъ Милославскимъ* Загоскина явились Лажечниковъ, Полевой и Вельтманъ. Одинъ, подражая буквально англійскому романисту, часто противорѣчилъ исторіи; другой, выражая довольно-вѣрно историческія эпохи, не былъ никогда поэтомъ; послѣдній въ *Кощеѣ безсмерт-*

*номъ* и *Святославичъ* умѣлъ такъ воспользоваться народными преданіями и показалъ такой оригинальный взглядъ на старую русскую жизнь, что долженъ занять первое мѣсто въ ряду нашихъ романистовъ. Этому вліянію историческаго романа подчинился и Пушкинъ въ послѣдніе годы своей поэтической дѣятельности, но онъ не могъ занять на этомъ поприщѣ важнаго мѣста, потому-что, при своемъ поверхностномъ воспитаніи, не былъ нисколько приготовленъ къ историческимъ трудамъ. Лучшими сочиненіями его въ прозѣ были тѣ, въ которыхъ проявлялся элементъ сатирическій, составлявшій одну изъ важнѣйшихъ стихій его таланта.

Подъ перомъ Пушкина сатира—выражая то общественные недостатки и болѣзни, то негодованіе поэта на противодѣйствіе, встрѣчаемое стремленіемъ общества къ цивилизаціи и образованію—является въ первый разъ высоко-художественною. Этотъ сатирическій элементъ, господствующая стихія въ Евгеніи Онѣгинѣ, проявился и въ другихъ произведеніяхъ Пушкина, какъ напримѣръ въ *Графѣ Нулинѣ*, *Домикѣ въ Коломнѣ*, во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ и даже въ нѣкоторыхъ сценахъ Бориса Годунова. Сатира Пушкина чрезвычайно разнообразна: она является то въ видѣ остроумной шутки, то подъ покровомъ горькой и неумолимой на-

смѣшки, то въ громахъ грозной филиппики; но всегда сильна, многозначительна и высокохудожественна. Этимъ сатирическимъ началомъ проникнуты и лучшія прозаическія сочиненія его *Египетскія Ночи* и *Лѣтопись села Горохина*, къ-сожалѣнію не конченная. Въ первой піесѣ Пушкинъ начертилъ горькую сатиру на значеніе поэта въ нашемъ обществѣ, а въ другой—написалъ злую пародію на карамзинскій способъ изложенія русской исторіи.

Вотъ три различные періода дѣятельности Пушкина, въ которыхъ онъ является то подражателемъ Аріосту и французскимъ поэтамъ XVIII вѣка, то послѣдователемъ Байрона, то самобытнымъ творцомъ, обратившимся, послѣ изученія Шекспира и Вальтеръ-Скотта, въ сферу драмы и исторіи. Теперь бросимъ взглядъ на отношеніе его къ обществу.

Судьба Пушкина составляетъ самую любопытную и поучительную страницу въ исторіи нашей поэзіи. Первыя его произведенія, еще молодыя и незрѣлыя, встрѣчались съ восторгомъ, перелетали съ электрической быстротою изъ устъ въ уста, переписывались и заучивались во всей Россіи. Ихъ читали и деревенская барышня, и юноша на ученической скамейкѣ, и офицеръ въ походной палаткѣ, и ученый въ своемъ кабинетѣ; они возбудили энтузіазмъ, до тѣхъ поръ неизвѣстный. Русланъ и Людми-

ла, Кавказскій Плѣнникъ, Цыганы, первыя главы Евгенія Онѣгина встрѣчены были со всеобщимъ восторгомъ. Потомъ, когда геній Пушкина возмужалъ, когда его сочиненія не были уже блѣдными подражаніями, незрѣлыми плодами молодости, а становились самобытными, оригинальными, тогда публика принимала ихъ не съ тѣмъ восторгомъ, какъ прежде, но почти равнодушно и безъ участія. Что̀ же было причиною такого страннаго явленія? отчего энтузіазмъ, возбужденный юношескими стихами Пушкина, погасъ въ то время, когда талантъ его возмужалъ? Поэтъ ли до такой степени предупредилъ свой вѣкъ, что толпа не могла понимать его, или общество ушло отъ него впередъ съ новыми идеями и потребностями?

Поэзія имѣетъ двоякое значеніе: или, отражая въ себѣ природу и жизнь, она воспроизводитъ общіе идеалы, безъ всякаго отношенія къ современному обществу, или, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, современныя идеи, выражаетъ въ личности поэта тѣ интересы и потребности, которые таятся въ настоящемъ обществѣ. Писатель, являющійся только безусловнымъ художникомъ, какъ бы ни былъ высокъ талантъ его, можетъ сдѣлаться любимцемъ только немногихъ поклонниковъ искусства, но никогда не увлечотъ за собою цѣлаго общества;

никогда не будетъ его вождемъ на пути къ развитію и совершенству, и заслужитъ общія рукоплесканія развѣ тогда, когда явится въ народѣ глубоко-образованномъ. Напротивъ, поэтъ, выражающій въ произведеніяхъ своихъ общественную жизнь и ея потребности, въ какомъ бы ни явился обществѣ, всегда становится въ главѣ его, обращаетъ на себя его молящіе и радостные взоры и производитъ въ немъ борьбу и броженіе.

Пушкинъ, въ началѣ своего поэтическаго поприща, явился представителемъ общественныхъ идей и потребностей, хотя не столько по глубокому убѣжденію и твердому сознанію, сколько по временному увлеченію и юношеской пылкости; а потому его первыя произведенія приняты были съ восторгомъ, несмотря на ихъ незрѣлость Въ нихъ общество видѣло уже не прежнихъ стихотворцевъ *съ кадильницей наемной*, но гражданина, котораго волнуетъ

Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь;

поэта, который гремитъ голосомъ истины и добра, караетъ порокъ и невѣжество, проповѣдуетъ противъ насилія и холодной неподвижности... Къ этому-то времени относятся многія изъ тѣхъ мелкихъ стихотвореній, въ которыхъ Пушкинъ выражаетъ въ своемъ ли-

цѣ идеи и потребности если не всего общества, то по-крайней-мѣрѣ того круга, въ который онъ былъ поставленъ обстоятельствами. Увлекаемый пылкими страстями молодости, сознавая благородное и великое призваніе поэта, Пушкинъ увидѣлъ въ себѣ *Пророка*, вдохновеннаго свыше, посланнаго для проповѣди истины, *съ отверстыми зеницами*, *съ пылающимъ углемъ* вмѣсто сердца, *съ жаломъ мудрой змѣи* вмѣсто языка, которому доступны всѣ сокровенныя тайны неба и земли, которому самъ *Богъ вѣщалъ* въ пустынѣ:

Возстань, пророкъ, и вѣждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!

Тогда явились *Андрей Шенье*, *Лицинію*, *Демонъ* и другія піесы, въ которыхъ личность поэта была отраженіемъ идей, начинавшихъ возникать въ обществѣ. Поэтъ встрѣтилъ восторженныя рукоплесканія, имя его перелетѣло съ любовью по всей Россіи, и онъ имѣлъ полное право сказать:

Я въ сердцахъ людей
Нашелъ созвучія моимъ созданьямъ.

Но противодѣйствіе, встрѣченное поэтомъ на пути великаго призванія, невозможность осуществленія его пылкихъ мечтаній и юношес-

кихъ думъ, поразили его на первомъ шагу убійственнымъ холодомъ безсилія, и тогда въ душѣ его начало рождаться горькое сомнѣніе въ высокомъ назначеніи, въ дѣйствительности слышаннаго въ пустынѣ голоса. Раздражаемый безпрестанно новымъ разочарованіемъ въ своихъ идеяхъ, хотя и невполнѣ зрѣлыхъ, онъ предался мучительной тоскѣ, то проклиная жизнь и призывая смерть, то трепеща при ея имени и благословляя судьбу. Это тревожное, мучительное положеніе высказалъ онъ въ тѣхъ мрачныхъ стихотвореніяхъ, которыя вырвались прямо изъ сердца его съ кровью и стонами [15]. Страдая отчаяніемъ и тяжолою грустью по несбывшимся надеждамъ, онъ то доспрашивался у судьбы, зачѣмъ дана ему *въ напрасный даръ* постылая жизнь, то говорилъ, что *хочетъ жить, для-того чтобъ мыслить и страдать.* Наконецъ, утомленный борьбою, сознавъ свое безсиліе противъ судьбы, видя развалины своихъ воздушныхъ замковъ, онъ отказался совсѣмъ отъ пророческаго призванія и обольщеній юности и говорилъ въ посланіи къ другу:

Давно ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердцѣ бурями смиренномъ
Теперь и лѣнь и тишина,
И въ умиленьи вдохновенномъ,

На камнѣ, дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена.

Озлобленный неудачами и противодѣйствіемъ и не имѣя силъ бороться съ ними по непрочности убѣжденій, Пушкинъ уединился въ объятія одного искусства, предался однимъ наслажденіямъ поэзіи и вознегодовалъ на людей. Не вѣря болѣе божественному голосу, призывавшему его на служеніе обществу, онъ сказалъ съ горечью и презрѣніемъ:

Подите прочь — какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ;
Душѣ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Недостатокъ и шаткость убѣжденій были причиною, что Пушкинъ совершенно отказался отъ идей, волновавшихъ его въ молодости, и увлекся новыми, въ кругъ которыхъ поставили его обстоятельства и образъ жизни. Стихотворенія *Родословная моего героя*, *Моя родословная* и другія—доказываютъ, что онъ нетолько забылъ

стремленія своей молодости, но даже началъ высказывать противное тому, что̀ постоянно проявлялось въ нашей поэзіи со временъ Кантемира. Общество скоро поняло, что любимый поэтъ оставилъ его, что народныя радости и печали не находятъ уже въ немъ горячаго сочувствія и даже встрѣчаютъ холодное презрѣніе. Тогда публика въ свою очередь, по невольному инстинкту, оставила поэта,—и то общество, которое съ восторгомъ принимало первыя, незрѣлыя произведенія молодого пѣвца Руслана и Людмилы, оставалось холоднымъ къ его послѣднимъ созданіямъ, несмотря на то что они были несравненно выше по искусству. Это охлажденіе публики сильно тревожило Пушкина въ послѣдніе годы его жизни. Онъ видѣлъ, ка́къ разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его съ обществомъ,—и началъ съ лихорадочнымъ безспокойствомъ бросаться во всѣ отрасли литературы, въ исторію, романъ, журналистику, отыскивая какой-нибудь струны, которая связала бы его съ публикою. Но ничто не помогало,—и смерть избавила его отъ печальной необходимости видѣть себя живымъ мертвецомъ посреди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову.

Остается опредѣлить значеніе Пушкина какъ поэта. Онъ не принадлежитъ къ числу такихъ

геніевъ, которые служатъ представителями идей всего человѣчества и увлекаютъ за собою всѣ умы. Можно ли требовать такого значенія отъ Пушкина? можно ли требовать его отъ современнаго поэта русскаго? Отечество наше, выступивъ такъ поздно на сцену міровой дѣятельности, не имѣло до сихъ поръ на Европу другого вліянія кромѣ политическаго, потому-что умственная его жизнь находится въ томъ періодѣ развитія, когда народъ усвояетъ плоды чужихъ знаній и успѣховъ, и начинаетъ ростить ихъ на своей почвѣ, готовясь выступить на поприще дѣятельности обще-человѣческой. Въ такое время, конечно, могли являться геніи, но возможно ли требовать отъ нихъ значенія всемірнаго, когда вся наша умственная жизнь не получила еще этого значенія? Такимъ образомъ, Пушкинъ не есть всемірный поэтъ и имѣетъ значеніе только для своего отечества. Онъ занимаетъ въ нашей литературѣ такое же мѣсто, какое занимаютъ Тегнеръ и Эленшлегеръ въ литературѣ шведской и датской, хотя и не съ такой полнотою, какъ они, выражаетъ настоящую и былую жизнь своего отечества. Въ немъ мы видимъ поэта, который въ первую половину жизни былъ представителемъ многихъ общественныхъ идей и потребностей, хотя и не съ полнымъ сознаніемъ убѣжденія; а въ послѣдніе годы вступилъ

на путь исторической дѣятельности, но при всемъ томъ, что былъ великимъ художникомъ, не успѣлъ возсоздать минувшей жизни своего народа. Ясно, что Пушкинъ не принадлежитъ къ великому семейству геніевъ міровыхъ и не можетъ быть названъ полнымъ представителемъ идей своего отечества, но какъ поэтъ-художникъ останется всегда звѣздою первой величины въ кругу нашихъ важнѣйшихъ писателей.

—

Почти въ одно время съ Пушкинымъ явился человѣкъ, который блеснулъ и исчезъ, какъ яркій метеоръ, на горизонтѣ нашей литературы. Черезъ три года послѣ выхода въ свѣтъ Руслана и Людмилы показалась комедія Грибоѣдова *Горе отъ Ума*, и произвела явленіе, до тѣхъ поръ невиданное. Несмотря на то, что она явилась въ рукописи, что авторъ ея былъ почти неизвѣстенъ, сочиненіе во множествѣ списковъ пронеслось по Россіи, находя восторженный пріемъ и въ аристократическихъ гостиныхъ, и въ скромныхъ семействахъ средняго круга. Имя Грибоѣдова сдѣлалось народнымъ, цѣлыя сцены его комедіи заучены были всѣми образованными людьми, стихи ея обратились въ пословицы. Что̀ же было причиною этого необыкновеннаго явленія?

Горе отъ Ума нельзя назвать комедіею: въ этой піесѣ нѣтъ ни завязки, ни сценическаго дѣйствія; вся интрига ея основана на любви Софьи къ негодяю Молчалину и привязчивости Чацкаго къ подругѣ дѣтства,— и кромѣ этихъ трехъ лицъ, другія въ ней не учавствуютъ. Но если эта піеса не выполняетъ нисколько условій комедіи, то она представляетъ самую яркую, поразительную и художественную картину русскаго общества начала XIX вѣка, самую остроумную и горькую сатиру на положеніе молодого поколѣнія, пылкаго, образованнаго, благороднаго, дерзкаго, насмѣшливаго,—посреди стараго московскаго общества, фанатическаго и безнравственнаго, низкопоклоннаго и враждебнаго образованію, напитаннаго барствомъ и формализмомъ, и усвоившаго одни наружные пріемы европейской цивилизаціи. Мысль поставить молодое поколѣніе въ противорѣчіе съ старымъ—дала возможность автору написать обширную и мастерскую картину, обставленную множествомъ типическихъ лицъ, списанныхъ съ дагерротипной вѣрностью и созданныхъ съ величайшимъ искусствомъ. Такимъ образомъ, Горе отъ Ума, не удовлетворяя требованіямъ комедіи,—по ничтожности интриги и недостатку дѣйствія—была только геніяльной картиною нравовъ общества, проникнутою свѣтлой современной идеею,— и вотъ тайна того

восторга, съ которымъ эта піеса была встрѣчена во всей Россіи.

Но идея Горя отъ Ума, несмотря на всю ея многозначительность и современность, высказана неполно и односторонне. Представляя положеніе молодого поколѣнія въ массѣ стараго, враждебнаго истинному образованію общества, Грибоѣдовъ прекрасно характеризуетъ послѣднее и неотчотливо понимаетъ первое. Ясно, что молодой человѣкъ, съ свѣтлыми идеями и благороднымъ образомъ мыслей, долженъ былъ возненавидѣть толпу, которая презирала и гнала образованіе, считая ученье чумою и сожалѣя о томъ, что *для пресѣченья зла* нельзя *собрать и сжечь всѣ книги*; и въ свою очередь самъ этотъ молодой человѣкъ, *врагъ исканій, не ищущій ни чиновъ, ни мѣстъ, и жаждущій однихъ познаній*, долженъ былъ показаться сумасшедшимъ этимъ исчадіямъ порока и невѣжества. Но какъ же поэтъ понялъ это молодое поколѣніе, которое онъ поставилъ въ противоположность старому? Можно ли назвать умнымъ Чацкаго? можно ли не видать мелочи, незрѣлости и заносчивости этого ума,

Что геній для иныхъ, а для другихъ чума;
Который скоръ, блестящъ и скоро опротивитъ,
Который свѣтъ ругаетъ на повалъ?

Софья права, опредѣливъ такимъ образомъ Чацкаго: это не умный человѣкъ, но безпо-

койный и заносчивый остроумецъ. Ожесточонный противъ общества за его невѣжество и безотчотное усвоеніе отъ иностранцевъ одного наружнаго лоска свѣтской жизни, онъ бросается въ другую крайность, и отъ слѣпого подражанія иноземцамъ хочетъ перейти къ китайскому застою, вооружается на бритьё бородъ и на фраки, и нетолько не думаетъ о благодѣтельномъ вліяніи европейскаго образованія, но говоритъ, что родной край для него хуже

Съ тѣхъ поръ какъ отдалъ все въ промѣнъ на новый ладъ.

Вотъ идея комедіи Грибоѣдова. Съ перваго взгляда видно, что она касается одного изъ самыхъ животрепещущихъ общественныхъ вопросовъ, но выражена неполно и ведетъ къ односторонности и ложнымъ выводамъ. Здѣсь нельзя не замѣтить большого сходства между сочиненіемъ Грибоѣдова и комедіями Фонвизина. Въ Бригадирѣ и Горѣ отъ Ума видна одна и та же сатира на безотчетное обезьянство, которое состояло въ усвоеніи пороковъ и наружнаго европейскаго лоска, и въ отчужденіи отъ истиннаго образованія и цивилизаціи просвѣщонной Европы. Въ той и другой комедіи одни и тѣ же лица—остатки азіятскаго общества, вольные или невольные враги истиннаго просвѣщенія и развитія. Въ Бригадирѣ выведено на сцену молодое поколѣніе послѣдней по-

ловины XVIII вѣка, которое стремилось къ сближенію съ европейскими обычаями, но понимало его въ одномъ только усвоеніи французскаго языка и парижскихъ модъ, и которое было еще немногочисленно посреди массы стараго поколѣнія, вовсе чуждавшагося образованія и воспитаннаго на капустѣ и рѣдькѣ. Въ Горѣ отъ Ума это молодое поколѣніе является уже массою, поколѣніемъ старымъ, представляя во всѣхъ лицахъ, за исключеніемъ Чацкаго, тѣхъ же Иванушекъ и Совѣтницъ, только устарѣвшихъ и пережившихъ три десятилѣтія. Новое же молодое поколѣніе начала XIX вѣка видимъ въ лицѣ Чацкаго, — и оно, являясь болѣе образованнымъ и нравственнымъ, сознаетъ всѣ заблужденія стараго общества, но по излишней пылкости, недостатку убѣжденій и незрѣлости идей, вдается въ новую крайность, и вмѣсто слѣпого подражанія европейскимъ обычаямъ, проповѣдуетъ совершенное отъ нихъ отчужденіе. Разумѣется, эти люди такъ же устарѣли для насъ, какъ Иванушка для Чацкаго, и кажутся теперь такъ же смѣшными и жалкими. Намъ представляется равно нелѣпымъ и обезьянски-необдуманное передразниванье чужихъ обычаевъ, и китайское отчужденіе отъ цивилизаціи просвѣщонной Европы, — равно кажутся анахронизмами Иванушки, гоняющіеся за однѣми иностранными модами, и Чацкіе,

проповѣдующіе возвращеніе къ бородамъ и славянщинѣ, хотя тѣ и другіе несовсѣмъ еще перевелись въ массѣ нашего стараго поколѣнія.

Такимъ образомъ, какъ картина нравовъ и сатира на общество, Горе отъ Ума есть произведеніе весьма важное въ нашей поэзіи, но какъ художественная комедія, не выдерживаетъ самой слабой критики. Недостатокъ завязки и дѣйствія, неестественность отношенія Чацкаго къ Софьѣ, блѣдность ея характера и странная любовь къ Молчалину,—все противорѣчитъ требованіямъ комедіи. Съ другой стороны, близкое отношеніе идеи піесы къ интересамъ общества, художественная картина нравовъ московскаго аристократическаго круга, мастерское искусство въ изображеніи характеровъ самыхъ типическихъ—ставятъ сочиненіе Грибоѣдова на-ряду съ важнѣйшими произведеніями нашей поэзіи и лучшими созданіями самого Пушкина. Если мы вспомнимъ, что авторъ Онѣгина цѣлыя шестнадцать лѣтъ былъ постояннымъ дѣятелемъ въ нашей литературѣ, а Грибоѣдовъ, явясь съ своей комедіей, ито рукописною, въ 1823 году, мало писалъ послѣ нея, а черезъ два года, въ то время когда Пушкинъ перешолъ къ чисто-художнической дѣятельности, не издавалъ уже вовсе ничего,—то нельзя не согласиться, что піеса Грибоѣдова, по глубокому впечатлѣнію на общество и

сочувствію, встрѣченному ею въ публикѣ, превосходитъ по значенію всѣ произведенія Пушкина. Если бы смерть не застигла такъ рано Грибоѣдова, если бы онъ, продолжая развиваться, въ то же время не уклонялся отъ своего направленія и сочувствія къ общественнымъ интересамъ, то, можетъ-быть, значеніе его въ нашей литературѣ было бы выше значенія самого Пушкина. Но судьба судила иначе: она отняла у насъ неожиданно того и другого, давъ одному совершить обширный и поучительный кругъ дѣятельности и позволивъ другому сдѣлать только шагъ на поэтической аренѣ, но такой шагъ, который поставилъ его на-ряду съ первыми нашими поэтами.

---

## V.

## ЛЕРМОНТОВЪ И ГОГОЛЬ.

---

Вмѣстѣ съ послѣдними звуками неожиданно-сокрушонной лиры Пушкина, послышался голосъ новаго, юнаго пѣвца,—это былъ Лермонтовъ, преемникъ таланта Пушкина, подобно ему выступившій на сцену при одобрительномъ

вниманіи публики, увѣнчанный терновымъ вѣнцомъ страданій и мгновенно скрывшійся въ самую блестящую пору своей дѣятельности.

Лермонтовъ, подобно Пушкину, началъ подражаніями русскимъ и иностраннымъ поэтамъ, но съ перваго шагу показалъ талантъ необыкновенный и разнообразный. Въ *Хаджи-Абрекѣ* онъ шолъ по слѣдамъ Пушкина, въ *Бояринѣ Оршѣ* подражалъ Жуковскому; въ первой поэмѣ видны слѣды Кавказскаго Плѣнника и Галуба, вторая внушена чтеніемъ Суда въ Подземельѣ,—но въ обѣихъ краски такъ живы, стихъ такъ силенъ, что многіе отрывки нисколько не уступаютъ лучшимъ мѣстамъ [redacted] Пушкина. Особенно вліяніе послѣдняго было сильно на Лермонтова; во многихъ мелкихъ стихотвореніяхъ онъ нетолько подражалъ манерѣ и стиху Пушкина, но даже заимствовалъ у него содержаніе,—можно сказать, писалъ на взятыя изъ него тэмы. *Вѣтка Палестины*, *Тамара*, *Три Пальмы* явно внушены стихотвореніями Пушкина Цвѣтокъ, Cleopatra e i suoi amanti и однимъ изъ Подражаній восточнымъ поэтамъ [16]. Но въ художественномъ созданіи рисунка, живости красокъ и силѣ стиха Лермонтовъ нетолько достигалъ въ этихъ стихотвореніяхъ высоты своего образца, но даже иногда превосходилъ его. Въ подражаніяхъ поэтамъ иностраннымъ талантъ Лермонтова явился такъ-же

сильнымъ и разнообразнымъ. Въ немногихъ небольшихъ піесахъ, переведенныхъ изъ Байрона, Гете и Гейне, онъ такъ овладѣлъ духомъ оригиналовъ, что, казалось, сами эти поэты, узнавъ русскій языкъ, высказали на немъ нѣсколько изъ своихъ прекрасныхъ стихотвореній.

Но самое сильное вліяніе на Лермонтова имѣлъ современный французскій поэтъ, неумолимый врагъ порока и разврата, который, глубоко страдая по болѣзнямъ общества, проникаетъ въ то же время въ ихъ сокровеннѣйшія причины. Мы говоримъ о Барбье.

Барбье есть представитель настоящаго французскаго общества, поэтъ послѣднихъ трехъ пятилѣтій. Его поэзія дышетъ негодованіемъ на тѣ пороки и несчастія, которые раздираютъ теперь бѣдный классъ европейскаго общества, и гремитъ проктятіемъ къ тѣмъ началамъ, которыя были причиною этого страшнаго состоянія. Выставляя на позорище общественный недугъ, Барбье ведетъ насъ къ самому одру больного, показываетъ его раны и призываетъ къ отвращенію заразы. Поэзія Барбье отличается отъ поэзіи Байрона тѣмъ, что послѣдній, аристократъ въ душѣ, видя недостатки и медленное развитіе современнаго общества, отворачивается отъ него съ презрѣніемъ и удаляется въ объятія природы; а первый, пора-

жонной зрѣлищемъ общественныхъ недостатковъ и болѣзней, не бѣжитъ отъ людей, но вооружонный бичомъ сатиры, разитъ ихъ пороки и побуждаетъ къ дѣятельности и очищенію. Первый презираетъ общество, другой гремитъ на него сатирою; одинъ убѣгаетъ человѣческихъ жилищъ, другой спускается въ самыя низкія обители нищеты, проливая кровавыя слезы и о людяхъ, доведенныхъ бѣдностію до разврата, и о страдальцахъ Бедлама, лишонныхъ ума несчастіями, и о бѣдныхъ работникахъ, медленно умирающихъ на душныхъ фабрикахъ Англіи. Этотъ-то поэтъ, выставляющій на позорище общества *гной душевныхъ ранъ его*, съ неумолимымъ проклятіемъ къ эгоизму золота, съ желѣзнымъ словомъ грозной сатиры и энергическимъ, могучимъ стихомъ, имѣлъ самое сильное вліяніе на нашего поэта.

Въ Лермонтовѣ слились элементы поэзіи Байрона и Барбье: въ немъ отразились мрачное охлажденіе и отчаяніе одного и энергическіе порывы и негодованіе другого. Но онъ такъ слилъ и усвоилъ оба эти начала, такъ пережогъ ихъ въ горнилѣ души своей, что его нельзя назвать простымъ подражателемъ Байрона и Барбье, какъ нельзя назвать подражателемъ Пушкина.

Вотъ великіе образцы, на которыхъ воспитывалъ талантъ свой Лермонтовъ. У Пушки-

на взялъ онъ тайну русскаго стиха, у Байрона—взглядъ на общественную жизнь и ея неразвитіе, [redacted] громовый и жолчный голосъ грозной сатиры, желѣзную крѣпость рѣчи и энергическій тонъ выраженія. И вліяніе этихъ поэтовъ не было ему такъ гибельно, какъ Пушкину вліяніе Парни и Байрона, не отвлекло его отъ самобытной дѣятельности, но придало, напротивъ, болѣе силъ и полета.

Пушкинъ былъ поэтъ по-преимуществу объективный и всегда почти скрывался за своими созданіями; Лермонтовъ былъ поэтомъ субъективнымъ и въ каждомъ произведеніи выражалъ черты собственнаго характера. Сравните, напримѣръ, *Тучу* Пушкина съ *Тучами* Лермонтова: въ одной вы увидите только прекрасную, художественную картинку, въ другомъ—минуту изъ жизни самого поэта. Но и въ немногихъ чисто-художественныхъ произведеніяхъ, Лермонтовъ нетолько не уступаетъ Пушкину, но часто превосходитъ его. *Три Пальмы*, въ которыхъ поэтъ рисуетъ изумительно-высокую картину Аравіи, превосходитъ все, что только существуетъ въ этомъ родѣ въ нашей поэзіи. Изъ такихъ чисто-художественныхъ произведеній Лермонтова лучшее—*Сказка о царѣ Иванѣ Васильевичѣ, молодомъ опричникѣ и купцѣ Калашниковѣ*. Эта піеса вполнѣ проникнута народнымъ духомъ и исполнена самой высо-

кой драмы. Въ ней воспроизведено съ изумительной вѣрностью грозное время Іоанна IV, и является колоссальный образъ царя, сверкающій съ ногъ до головы поэзіею. Эту піесу нельзя поставить ни въ какое сравненіе съ безцвѣтными и ложно-народными сказками Пушкина. Она съ начала до конца вѣрна историческому и поэтическому характеру Грознаго, дышетъ обаятельной красотою картинъ и прелестью языка, и можетъ быть поставлена только на-ряду съ лучшими сценами Бориса Годунова, превосходя его полнотою и оконченностью созданія и вѣрностію изображаемой эпохи.

Лучшія, и къ-несчастію почти единственныя, поэмы Лермонтова—*Демонъ* и *Мцыри*. Въ первой поэтъ изобразилъ обаятельную силу соблазна и демонское могущество порока, увлекающаго въ бездну погибели пламенную и гордую душу невинности; въ другой—пылкую, ничѣмъ неукротимую жажду свободы и невозможность достиженія ея при одной безсильной волѣ. Дѣйствіе обѣихъ піесъ на Кавказѣ,—и въ той и другой поэтъ представилъ этотъ край въ такихъ яркихъ и роскошныхъ краскахъ, которыя нетолько не уступаютъ краскамъ Пушкина, но отличаются еще бо́льшею силою и свѣжестію. Характеры въ этихъ поэмахъ задуманы смѣло и начерчены съ величайшимъ искусствомъ, положенія и сцены въ высшей степени

драматическія; а борьба и переходы страстей, внутренняя, душевная драма—поражаютъ необыкновенною вѣрностію и глубокимъ анализомъ человѣческаго сердца. Но самое высокое произведеніе Лермонтова—*Герой нашего Времени*.

Этотъ романъ по идеѣ и содержанію долженъ стоять на ряду съ Евгеніемъ Онѣгинымъ. Лермонтовъ въ Печоринѣ, также какъ Пушкинъ въ Онѣгинѣ, изображаетъ современное общество, и сличеніе характеровъ этихъ лицъ будетъ сравненіемъ молодого поколѣнія, раздѣленнаго тремя пятилѣтіями. Печоринъ, подобно Евгенію,—разочарованный юноша, ненавидящій общество и испорченный свѣтомъ, съ безпокойнымъ воображеніемъ и ненасытнымъ сердцемъ; это—говоря словами автора—«портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія въ полномъ ихъ развитіи.» Онъ, какъ Онѣгинъ, разочарованъ жизнію, но уже не потому только, что промоталъ молодость и встрѣтилъ измѣну въ друзьяхъ и женщинахъ, а вмѣстѣ и отъ-того, что не нашолъ отвѣтовъ на запросы ума. «Цѣлая моя жизнь—говоритъ Печоринъ—была только цѣпью грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку». Вотъ новый шагъ, который сдѣлало впередъ молодое поколѣніе: его занимаютъ не однѣ страсти, но и вопросы ума, оно начало вдумываться

въ судьбу свою, задавать вопросы въ своемъ существованіи и искать на нихъ отвѣтовъ. «Зачѣмъ я жилъ?—спрашиваетъ Печоринъ—для какой цѣли я родился? А вѣрно она существовала, и вѣрно мнѣ было назначеніе высокое, потому-что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя»... Этой вдумчивости въ жизнь, этого сознанія огромности силъ не было въ Онѣгинѣ,—и въ лицѣ Печорина новое молодое поколѣніе предложило себѣ вопросъ въ цѣли своего существованія. Какая разница въ разочарованіи Онѣгина и Печорина! Одинъ, истощивъ сердце въ шумѣ свѣта, впадаетъ въ совершенное бездѣйствіе и апатію; другой, подобно ему ненавидя жизнь, бросается въ нее съ лихорадочнымъ раздраженіемъ, ища дѣятельности и приключеній, влюбляется въ черкешенку, волочится за княжною, бѣситъ пріятеля. Наконецъ, не находя пищи для жадной души и въ самыхъ тревогахъ жизни, не находя возможности къ удовлетворенію сердца и ума, онъ впадаетъ въ отчаяніе при горькомъ сознаніи того, что «мы неспособны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастія, потому-что знаемъ его невозможность». Въ этой-то печальной увѣренности въ невозможности дѣйствія для блага человѣчества и собственнаго счастія, заключается источникъ всѣхъ пороковъ Печорина,

причина его бездѣйствія и лихорадочной дѣятельности, его пресыщенія и неутолимой жажды. Вотъ идея романа, по которой *Герой нашего Времени* равняется Евгенію Онѣгину и является произведеніемъ вполнѣ современнымъ. Если онъ уступаетъ роману Пушкина въ неисчерпаемомъ разнообразіи картинъ и красокъ, въ удивительномъ переливѣ свѣта и тѣней, зато превосходитъ его полнотою мысли, силою и быстротою дѣйствія и занимательностью сценъ.

Не приступая къ дальнѣйшему опредѣленію значенія Лермонтова, необходимо сказать, что въ послѣднее время та же самая идея, которая послужила основаніемъ Евгенія Онѣгина и Героя нашего Времени, явилась въ произведеніи одного молодого поэта;—мы говоримъ о *Двухъ Судьбахъ* Майкова. Несмотря на молодость таланта и неполноту мысли, эта поэма принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій современной литературы. Въ ней такъ-же, какъ въ Горѣ отъ Ума и въ романахъ Пушкина и Лермонтова, выражено положеніе молодого образованнаго поколѣнія въ массѣ незрѣлаго общества,

Успѣвшаго такъ дивно сочетать
Европы лоскъ и варварство татарства.

Но Владиміръ Майкова не похожъ на Онѣги-

на, Чацкаго и Печорина: не находя, подобно имъ, пищи для души посреди мелочей пустой жизни, разочарованный въ лучшихъ своихъ надеждахъ и стремленіяхъ, онъ, однакожъ, страстно любитъ науку, искусство и природу, и пытливо доспрашивается у судьбы о тайнѣ медленнаго развитія общества. Вдумываясь въ причины своего душевнаго охлажденія, онъ молитъ судьбу о благѣ отечества, проситъ ее *послать новаго пророка*, который бы, подобно Петру, *живымъ словомъ* двинулъ впередъ общество къ новому совершенству, и взываетъ съ горькимъ упрекомъ къ тѣмъ, которые не поняли идеи великаго преобразователя...

Ужель, когда мессія нашъ возсталъ,
Васъ пробудилъ, и міръ открылъ вамъ новый,
Въ васъ мысль вдохнулъ, вамъ жизнь иную далъ,—
Не вняли вы его живое слово,
И гласъ его въ пустынѣ прозвучалъ?
И грустные, идете вы какъ тѣни,
Безъ силы, безъ страстей, безъ увлеченій?
Или была наука вамъ вредна?
Иль, дикаго растливъ, въ вашъ духъ она
Не пролила свой пламень животворный?
Иль, лѣнію окованнымъ позорно,
Не по-плечу вамъ мысли блескъ живой?
Упорнымъ сномъ вы платите ль Батыю
Доселѣ дань, и плодъ ума порой,
Какъ лишній соръ, сметается въ Россію?

Такъ шагнуло впередъ молодое поколѣніе! Это уже не Онѣгинъ, промотавшій молодость въ

чувственномъ упоеніи, не Чацкій, жолчный и раздражительный ненавистникъ всего иноземнаго, не Печоринъ, утоляющій жажду къ дѣятельности въ вихрѣ жизни; это юноша, страстно любящій все прекрасное, который впадаетъ въ апатію отъ-того, что не находитъ точки опоры, гдѣ могъ бы утвердить свою дѣятельность и удовлетворить пламенной любви къ людямъ, наполняющей его благородную душу. Такъ постепенно перерождался Онѣгинъ въ Печорина и Владиміра: въ одномъ выразилось презрѣніе къ свѣту въ-слѣдствіе пресыщенія чувственной жизнію, въ другомъ охлажденіе къ жизни при невозможности наслаждаться ею со всей полнотою, въ третьемъ отчужденіе отъ общества при безсиліи увлечь его къ дѣятельности и перерожденію.

Отличительный характеръ поэзіи Лермонтова есть мрачный взглядъ на современное общество, «безъ шума и слѣда влачащее однообразную жизнь и не оставляющее въ наслѣдіе потомству геніяльныхъ созданій». Она исполнена горячимъ стремленіемъ къ дѣятельности, пожирающею жаждою жизни, грустію по несбывшимся надеждамъ, сомнѣніемъ, отчаяніемъ и страданіемъ. Въ ней *звуки льются какъ слезы*, и *слезы текутъ* мѣрно *какъ звуки*, *любовь* является *безъ радостей*, *разлука безъ печали*; въ ней видѣнъ

Надеждъ погибшихъ и страстей
Несокрушимый мавзолей.

Истощивъ силы въ борьбѣ съ судьбою, Лермонтовъ, подобно Пушкину, доспрашивался у нея, зачѣмъ дана ему жизнь; но эти вопросы не были уже слѣдствіемъ мгновенной тоски, но порождены глубокимъ и продолжительнымъ страданіемъ. Съ отвращеніемъ вспоминая о *скучной и грустной* жизни, о ничтожествѣ желаній и страстей, оплакивая *жаръ души*, *растраченный въ пустынѣ*, онъ проклинаетъ свое прошедшее, настоящее и будущее.

Переходъ отъ Пушкина къ Лермонтову очевиденъ и разителенъ. Мы видѣли, что Пушкинъ *въ Пророкѣ* смотрѣлъ на назначеніе поэта, какъ на священное призваніе для служенія истинѣ, какъ на высшее посланіе для изглаголанія обществу воли провидѣнія. Онъ первый услышалъ небесный голосъ, но не имѣя прочныхъ убѣжденій и разочарованный въ своихъ надеждахъ и стремленіяхъ, скоро отказался отъ этого великаго призванія, не устоялъ въ борьбѣ съ преградами, противопоставленными святому служенію. *Пророкъ* Лермонтова служитъ продолженіемъ піесы Пушкина, другою стороною одной и той же медали, выбитой двумя великими поэтами въ память своего вѣка и общества. Въ немъ поэтъ представилъ исполненіе того святого призванія, которое

слышалъ его предшественникъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, показалъ невозможность его выполненія, гоненіе встрѣченное пророкомъ въ толпѣ, не увѣровавшей слову истины и изгнавшей его изъ среды своей, какъ сумасшедшаго. Пушкинъ оканчиваетъ своего Пророка словами Бога, повелѣвающаго ему идти на проповѣданіе людямъ истины. Лермонтовъ начинаетъ съ того, чѣмъ кончилъ Пушкинъ:

Съ тѣхъ-поръ, какъ вѣчный судія
Мнѣ далъ всевѣденье пророка,
Въ очахъ людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я сталъ любви
И правды чистыя ученья:
Въ меня всѣ ближніе мои
Бросали бѣшено каменья.

Тогда, *посыпавъ голову пепломъ*, поэтъ *удаляется въ пустыню* и тамъ живетъ, оставляя человѣчество и созерцая природу и Божество. Люди, не вѣруя въ его святое призваніе, показываютъ на него, какъ на безумца, говоря дѣтямъ:

Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Глупецъ, хотѣлъ увѣрить насъ,
Что Богъ гласитъ его устами!
Смотрите жь, дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,
Какъ презираютъ всѣ его!

Вотъ ка́къ осяза́тельно-ясно выразились идеи Пушкина и Лермонтова! Одинъ высказалъ идею о высокомъ призваніи поэта и его назначеніи; другой показалъ, что общество не увѣровало въ это и встрѣтило поэта ожесточонными гоненіями, что самъ онъ бѣжалъ изъ среды людей въ пустыню, отказавшись отъ проповѣди истины. Еще сильнѣе выразилъ Лермонтовъ идею о томъ, что поэтъ утратилъ въ нашъ вѣкъ свое высокое назначеніе, — въ другомъ стихотвореніи, гдѣ онъ сравниваетъ современнаго поэта *съ забытымъ кинжаломъ, покрытымъ ржавчиною*, который виситъ въ бездѣйствіи, вмѣсто-того чтобъ разить враговъ въ битвахъ. Упрекая поэта въ томъ, что онъ забылъ свое святое призваніе, что его голосъ *не звучитъ вѣстникомъ народныхъ торжествъ и бѣдствій*, что его слово *не носится* уже *надъ толпою*, онъ призываетъ его на служеніе человѣчеству и восклицаетъ съ горестію и сомнѣніемъ:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ножонъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья?

Это стихотвореніе напоминаетъ Melpomène Барбье и служитъ продолженіемъ и дополненіемъ Пророка.

Вотъ значеніе Лермонтова въ нашей поэзіи!

Образовавшись подъ вліяніемъ Пушкина, Байрона и Барбье, онъ не остался ихъ подражателемъ, но проложилъ себѣ новый путь. Его поэзія есть зеркало современнаго общества, алчнаго стремленія его къ жизни и невозможности удовлетворить вполнѣ этой жаждѣ. Въ ней видно разочарованіе, нестоль многозначительное какъ у Байрона, но и нетакъ мелкое, какъ у Пушкина: это стоны богатыря, который, сквозь окно темницы, видитъ ратный станъ и толпы враговъ, но пригвожденный къ гранитной стѣнѣ, то потрясаетъ въ бѣшенствѣ цѣпями, то въ утомленіи проливаетъ слезы безсилія, то съ гордостью переноситъ страданія. Къ-несчастію, судьба похитила поэта въ то время, когда онъ только начиналъ развиваться; но и въ томъ, что написалъ онъ, нельзя не изумляться обширности его генія и высоко-художественной его натурѣ. Не говоря уже объ идеяхъ вполнѣ современныхъ, сколько силы и искусства въ его картинахъ и въ характерахъ его лицъ! Какъ просты и высоки его Мцыри, Иванъ Грозный, Княжна, Бэла; какъ изумительно вѣрны и прекрасны его Калашниковъ, Грушницкій, Максимъ Максимычь! какою свѣжестію и истиной дышатъ его картины природы и особенно Кавказа! какъ блестящъ и могучъ его языкъ, достигающій въ послѣднихъ произведеніяхъ, и осо-

бенно въ *Валерикѣ*, такого совершенства, до какого никогда не возвышался Пушкинъ.

Такимъ образомъ, въ Лермонтовѣ выразилось отчаяніе, рожденное въ слѣдствіе невозможности выполнить высокое назначеніе поэта, призваннаго проповѣдывать обществу живое слово истины и совершенства. Несмотря на то, потребность къ дѣятельности общественной не могла совсѣмъ заглохнуть, а только должна была проявиться въ новыхъ формахъ, заговорить инымъ голосомъ, облечься въ другую одежду. Такъ живой ключъ, разливаясь ручьемъ и встрѣчая преграды теченію, не можетъ уже возвратиться къ источнику, но пробиваетъ для себя новый путь. Образовалась новая сатира, которая устремилась только къ вѣрному изображенію общественнаго состоянія, стараясь показать недостатки во всѣхъ слояхъ народной массы, «озирая жизнь сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы». Представителемъ этой поэзіи явился Гоголь.

Ни въ одномъ изъ нашихъ поэтовъ не обнаружилось такой горячей любви къ народу, ни одинъ не плакалъ такими горькими слезами о его недостаткахъ и заблужденіяхъ, какъ Гоголь. Его сатира есть страшная драма: въ ней сквозь истерическій смѣхъ видны кровавыя слезы. Въ Пушкинѣ сочувствіе къ общественнымъ интересамъ, какъ мы уже говорили, вы-

разилось только въ одинъ періодъ его жизни, ито неполно, не съ твердымъ убѣжденіемъ; у Лермонтова оно проявилось въ большихъ размѣрахъ, но было проникнуто отчаяніемъ въ успѣхѣ вліянія на общество и охлажденіемъ къ жизни въ-слѣдствіе безсильной борьбы; у Гоголя глубокое сознаніе народнаго духа и гуманизмъ есть уже господствующая, всепоглощающая стихія. Пушкинъ эгоистически бросаетъ общество, Лермонтовъ съ отчаяніемъ проклинаетъ его, Гоголь плачетъ по немъ и страдаетъ. Это страданіе тѣмъ глубже, поразительнѣе и ядовитѣе, что оно скрыто въ самой глубинѣ его созданій, подъ наружностью смѣха, то беззавѣтно-шумнаго, болѣзненно-истерическаго, то тихаго, спокойнаго, проникнутаго насмѣшкою и весельемъ. У Гоголя слезы таятся подъ покровомъ смѣха, какъ вода рѣки подъ корою льда,—и только изрѣдка, подобно полыньѣ, онѣ становятся видимыми и попадаются вамъ въ глаза.

Таково окончаніе *Записокъ Сумасшедшаго*, *Повѣсти о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ*, гдѣ поэтъ, какъ бы въ избыткѣ страданія, невольно роняетъ передъ вами одну изъ тѣхъ слезъ, которыя проливаетъ тайно. Но это бываетъ рѣдко: поэтъ обыкновенно таитъ свои страданія подъ покровомъ смѣха, и тѣмъ ужаснѣе

дѣйствуетъ онъ на душу, тѣмъ тяжелѣе падаетъ на сердце, чѣмъ скрытнѣе и глубже затаены подъ нимъ слезы. Смотря на пошлую существенность, которую изображаетъ Гоголь, на «страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь»—вы предаетесь беззавѣтной веселости, готовы, кажется, безпрестанно хохотать надъ грязной дѣйствительностью, потѣшаться балаганными паяцами, смѣяться надъ нравственными уродами, которыхъ показываетъ намъ поэтъ. И что же? Едва только начинаете вы пристальнѣе вглядываться въ картину, едва принимаетесь думать о ея значеніи, какъ вашъ беззаботный смѣхъ исчезаетъ, тоска падаетъ вамъ на сердце, и веселое обращается въ печальное. «Въ глубинѣ холоднаго смѣха—какъ говоритъ Гоголь—вы находите горячія слезы вѣчной, могучей любви.» И при чтеніи его вамъ невольно представляется эта любовь къ людямъ. Взглядъ на пошлую существенность приводитъ васъ къ идеѣ объ истинной жизни, портреты искаженнаго человѣка напоминаютъ черты, которыми долженъ отличаться тотъ, кто созданъ по образу божію, испорченность общества указываетъ на народное совершенство. Этого мало... Вдумываясь глубже, вы отъ частнаго переходите къ общему, отъ несовершенства одного общества къ заблужденіямъ всего человѣчества. Вы видите

уже ясно, осязательно идею поэта, васъ поражаетъ мысль: «какія искривленныя, глухія, узкія, непроходимыя, заносящія далеко въ сторону дороги избирало человѣчество, стремясь достигнуть вѣчной истины, тогда какъ передъ нимъ весь былъ открытъ прямой путь.» Этотъ высокій, глубоко-гуманическій взглядъ лежитъ въ основѣ всѣхъ созданій Гоголя и даетъ ему обширное значеніе въ нашей поэзіи.

Гоголь нетолько раскрываетъ намъ времена минувшія и рисуетъ настоящее, но онъ глубоко вдумывается и въ будущую судьбу Россіи:

Что́ пророчитъ сей необъятный просторъ? — спрашиваетъ онъ. — Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему.

И эти думы, вложенныя въ уста Чичикову и прерванныя въ поэмѣ наскакавшею на него телегою фельд-егеря, поэтъ заключаетъ сравненіемъ Россіи съ тройкою...

Не такъ ли ты, Русь что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается позади.... Русь, куда жъ несешься ты, дай отвѣтъ? Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все что ни есть на земли, и косясь посторанниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства.

Произведенія Гоголя разнообразны по содержанію: въ нихъ — коренная Россія и Малороссія, столица и провинція, жизнь армейскаго офицера и существованіе бѣднаго чиновника, нравы городского общества и обычаи деревенской жизни,—словомъ, все русское общество на различныхъ ступеняхъ. Лучшія произведенія Гоголя—*Тарасъ Бульба*, *Ревизоръ* и *Мертвыя Души*. Въ первомъ поэтъ изобразилъ широкой кистью Малороссію и Запорожскую Сѣчь, всю жизнь казачества въ лучшую его эпоху, всю великолѣпную природу южной Россіи; но къ-несчастію, эта повѣсть пострадала отъ дополненій, сдѣланныхъ авторомъ въ-послѣдствіи. Стычки казаковъ подъ Дубно съ польскими войсками, описанныя въ гомерическомъ духѣ, повредили своею неумѣстностью и быстротѣ дѣйствія и единству тона. Ревизоръ—художественная картина мелкаго провинціяльнаго общества и самый высокій образецъ народной комедіи, какой до сихъ поръ не существовало въ Россіи. Идея, развитіе дѣйствія, занимательность положеній, художественная полнота характеровъ, — все ставитъ эту піесу на ряду съ величайшими образцами русской поэзіи. Но оба сочиненія уступаютъ Мертвымъ Душамъ. Это произведеніе, по глубокой идеѣ, вѣрной картинѣ нравовъ, художественному созданію характеровъ и національ-

ному значенію, принадлежитъ къ числу немногихъ великихъ созданій нашей поэзіи, которыми она по-справедливости можетъ гордиться. Къ несчастію это произведеніе не кончено, а послѣднее сочиненіе Гоголя *Выбранныя мѣста изъ Переписки съ друзьями*, въ высшей степени странное и одностороннее, показываетъ, что русской литературѣ суждено понести еще горькую утрату и лишиться великаго таланта въ самую пору его развитія.

Гоголя упрекаютъ въ цинизмѣ, въ сальностяхъ его картинъ и лицъ и въ преувеличеніи портретовъ, переходящихъ будто бы въ каррикатуру. Это обвиненіе совершенно несправедливо. Всѣ лица Гоголя вѣрны природѣ, какъ лучшее зеркало,—и если кажутся инымъ преувеличенными, то или отъ-того, что у насъ не привыкли пристально всматриваться въ жизнь и нравы; или потому, что страшное безобразіе лицъ до-того отвратительно и противно нравственному чувству, что заставляетъ сомнѣваться въ ихъ дѣйствительномъ существованіи. Такіе обвинители Гоголя похожи на устарѣлую и некрасивую кокетку, которая, заказывая свой портретъ художнику, требуетъ сходства, но сердится, если онъ пишетъ его, не скрывая лишней морщины и не дѣлая даже граціознымъ какого-нибудь прыщика. Гоненіе подобныхъ людей на Гоголя тѣмъ сильнѣе, что въ Ре-

визорѣ и Мертвыхъ Душахъ нѣтъ такъ-называемыхъ *добродѣтельныхъ лицъ*, въ родѣ фонвизинскихъ Правдина или Стародума и, слѣдовательно, нѣтъ ни одной ограды, за которою можно было бы спрятаться отъ стрѣлъ неумолимой сатиры. Не понимая, что единственнымъ благороднымъ лицомъ въ этихъ произведеніяхъ долженъ быть самъ читатель, если смѣхъ его чистосердеченъ; не видя, что изъ-за этой толпы нравственныхъ уродовъ всегда выставляется лицо противоположное, идеалъ человѣка; не сознавая благороднаго негодованія поэта на тѣ отвратительныя картины, которыя онъ представляетъ на всеобщее позорище,—порицатели Гоголя забываютъ, что должно смывать грязь, а не покрывать ее, преслѣдовать и истреблять пороки, а не маскировать ихъ. Другое обвиненіе въ цинизмѣ и сальностяхъ такъ же несправедливо, какъ и первое. Рѣшившись показать обществу его недостатки и болѣзни, могъ ли поэтъ не отразить въ своихъ произведеніяхъ той нечистой жизни, которая служила оригиналомъ его картинамъ? Конечно, есть предѣлы, за которые искусство не должно переступать въ подражаніи природѣ, но эти предѣлы опредѣляются законами изящнаго, а не чопорною взыскательностью мѣщански-аристократическаго вкуса, не ложною стыдливостью безстыднаго критика или

поддѣльною нравственностью какого-нибудь ханжи. Гоголь поэтъ сатирическій, а стрѣлы сатиры не должны быть надушены розовымъ масломъ.

---

# ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

—

Въ этомъ краткомъ очеркѣ мы старались показать ходъ и значеніе идей, проявлявшихся въ древней и новой русской поэзіи, а потому, обращая вниманіе преимущественно на тѣ факты, въ которыхъ онѣ обнаруживались, занимались эстетической оцѣнкою произведеній и говорили о языкѣ только тамъ, гдѣ необходимо было объяснить историческое значеніе поэта, безъ того непонятное. Разборъ важнѣйшихъ явленій показалъ намъ, что вся русская поэзія представляетъ двѣ совершенно-отдѣльныя картины. Въ одной видимъ неподвижно-бѣдныя идеи, грубую фантазію и медленный упадокъ умственной жизни народа, отдѣленнаго отъ образованнаго міра,—въ другой находимъ кипучую дѣятельность быстраго развитія общества, воспрянувшаго съ могучими силами послѣ вѣкового отчужденія.

Мы говорили, что новая наша поэзія приняла съ самаго начала двоякое направленіе, возникшее изъ самой реформы Петра Великаго, — подражательное и самобытное.

Направленіе *подражательное* принесло свою пользу: оно познакомило и сблизило Россію съ идеями, пережитыми Европою во времена нашего нравственнаго бездѣйствія, вознаградило отчасти для русскаго общества то, что̀ утратили мы, живя до Петра исключительной жизнію. Благодаря этому направленію, идеи образованныхъ народовъ, проявлявшіяся въ ихъ поэзіи, сдѣлались намъ знакомыми, и мы перешли въ короткое время многія изъ тѣхъ ступеней, по которымъ возвышалась Европа въ цѣлыя столѣтія. Оно, можно сказать, пополнило пустоту, образовавшуюся въ нашей исторіи отъ-того, что Россія до XVIII вѣка не принимала участія въ общихъ судьбахъ человѣчества. Мы видѣли, ка̀къ идеи европейской поэзіи находили у насъ отголосокъ, хотя и не всегда вѣрный, ка̀къ посредствомъ ихъ мы болѣе и болѣе сливались и сливаемся съ обществомъ образованной Европы, ка̀къ наша жизнь становится частицею ея жизни. Неблагопріятное для поэзіи время, въ которое совершилось пробужденіе умственной дѣятельности русскаго народа, сообщило подражательному направленію характеръ реторическій, — но мы говорили, ка̀къ этотъ реторизмъ мало-по-малу изглаживался и принималъ иной видъ. Разумѣется, что до тѣхъ поръ пока Русскіе не разовьютъ вполнѣ своего собствен-

наго образованія, подражательное направленіе не перестанетъ играть важной роли въ нашей поэзіи и всегда будетъ благодѣтельнымъ, принося идеи просвѣщеннаго міра. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ видѣть въ подражаніи упадокъ общественной жизни. Если въ поэзіи самыхъ образованныхъ народовъ часто являлось такое направленіе, если было время, когда англійская литература находилась подъ вліяніемъ французской, когда Французы черпали идеи изъ поэзіи Нѣмцевъ и Англичанъ; то можно ли упрекать въ подражательномъ направленіи поэзію русскую, представительницу общества, только-что начинающаго входить въ кругъ образованнаго человѣчества, послѣ переворота крутого и быстраго? Смѣшно ослѣпленіе ложнаго патріотизма, который воображаетъ, что при сближеніи съ чужими идеями народъ не можетъ развивать своего духа и не въ силахъ работать для человѣчества, забывая, что великіе европейскіе народы постоянно усвояли плоды цивилизаціи одинъ у другого и при всемъ томъ вносили въ общую жизнь свои собственные элементы.

Направленіе *самобытно-сатирическое* еще многозначительнѣе. У насъ сатира имѣетъ иное значеніе, нежели у другихъ народовъ. Вездѣ она являлась въ такое время, когда нравы, послѣ продолжительной жизни, начи-

нали приходить въ упадокъ, когда пороки и развратъ, овладѣвая обществомъ, грозили ему уничтоженіемъ;—у насъ, напротивъ, она возникла въ эпоху возрожденія народа, который начиналъ новую, лучшую жизнь, отказываясь отъ грубыхъ нравовъ и пороковъ, угрожавшихъ ему паденіемъ и гибелью. Въ обществахъ упадающихъ сатира вооружалась всегда на большинство, которое безпрестанно увеличивалось;—у насъ она сражается съ массою, которая постоянно уменьшается; тамъ сатира, нападая на современность, указывала всегда на прошедшее, какъ на образецъ,—здѣсь она враждуетъ съ настоящимъ, какъ съ остатками прошедшаго, и тѣмъ самымъ говоритъ о будущемъ совершенствѣ. У другихъ народовъ сатира не могла имѣть вліянія на нравы и исправить общественные недостатки, потому-что нація не въ-состояніи никогда воротиться къ своему прошедшему; — у насъ она всегда производила благотворное дѣйствіе на нравы, отъ-того что наше общество, отказываясь отъ прошедшаго, стремится къ совершенству. Мы видѣли, что главной идеею русской сатиры было уничтоженіе того осадка варварства, который оставался отъ стараго, до-петровскаго общества, и того нароста ложно-понятыхъ началъ европейской цивилизаціи, какой необходимо долженъ былъ возникнуть отъ пламен-

ной жажды къ сближенію съ европейской жизнію. Враги образованія, мѣшавшіе истинному просвѣщенію, по грубой закоренѣлости или излишней подражательности и неправильному понятію о цивилизаціи, — вотъ элементы, съ которыми враждовала и враждуетъ у насъ сатира. Здѣсь ясно видно, что это направленіе нашей поэзіи есть продолженіе той минуты, въ которую Петръ изрекъ первое слово образованія и сближенія съ Европою. Въ немъ, можно сказать, живетъ духъ и развивается идея великаго преобразователя. Въ сатирѣ общество нашло того двигателя, который постоянно продолжаетъ вести его по пути къ совершенству, уничтожая преграды, поставленныя вѣковымъ отчужденіемъ и невѣжествомъ.

Мы старались въ этомъ очеркѣ обозрѣть постепенный ходъ нашей сатиры, раскрыть ея идеи, обнаружить начала, которыя она стремилась сокрушить, и показать какую важную роль играла и играетъ она въ новой поэзіи. Здѣсь мы видѣли, что, явясь въ первый разъ въ лицѣ Кантемира, сатира была чужда всякой художественности и не имѣла ничего оригинальнаго въ формѣ, но выразила общественныя потребности, преслѣдуя враговъ образованія, начатаго Петромъ Великимъ. Потомъ, подъ перомъ Фонвизина и Грибоѣдова,

она напала на другихъ враговъ просвѣщенія, которые бросались только на однѣ наружныя формы европейской жизни и усвояли у образованныхъ народовъ нестолько плоды ихъ цивилизаціи, сколько недостатки и пороки. Въ поэзіи Державина она превратилась въ гимнъ императрицѣ, покровительницѣ науки и просвѣщенія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, явилась грознымъ бичомъ на обычаи и нравы предшествовавшаго поколѣнія. Въ картинахъ Пушкина и Лермонтова сатира представила мелочь свѣтскихъ приличій, пустоту общественной жизни, холодное равнодушіе толпы, медленно двигающейся впередъ и не внимающей великому завѣту преобразователя. Наконецъ въ созданіяхъ Гоголя она явилась высоко-художественной картиною нравовъ общества, вѣрнѣйшимъ зеркаломъ его недостатковъ и потребностей, одушевленная сочувствіемъ и любовью къ народному благу. Разборъ приведенныхъ нами фактовъ показываетъ, какъ кругъ дѣятельности сатиры постепенно расширялся, охватывая важнѣйшіе интересы жизни.

Изъ всего этого видно, что наша новая поэзія выражаетъ характеръ борьбы началъ европейской жизни съ остатками стараго неподвижнаго общества. Картина многозначительная! Какое великолѣпное зрѣлище представляетъ этотъ быстрый ходъ идеи просвѣ-

щенія народа, лишоннаго надолго участія въ судьбахъ человѣчества, и борьба ея съ массою грубаго ослѣпленія, плода вѣковой неподвижности.

Само собою разумѣется, что русская поэзія до сихъ поръ не могла имѣть значенія общечеловѣческаго, выражая только внутреннюю борьбу общественныхъ элементовъ, и представляя или подражаніе литературамъ европейскимъ и отраженіе ихъ идей, или вражду образованія, заимствованнаго у тѣхъ же Европейцевъ, съ началами старой жизни. Потому у насъ являлось много геніяльныхъ поэтовъ, великихъ представителей нашего общества, и не могло быть ни одного писателя съ значеніемъ всемірно-историческимъ. Но чѣмъ болѣе развивается наше общество, чѣмъ болѣе, слѣдуя завѣту великаго Петра, приростаетъ оно къ Европѣ, тѣмъ скорѣе приближается часъ, когда мы, одухотворясь идеями просвѣщенія и цивилизаціи, начнемъ жизнь общечеловѣческую, и когда поэзія наша станетъ приносить богатые вклады въ общую сокровищницу искусства. И это время можетъ быть не далеко.

Итакъ, скажемъ съ гордостью, что наша поэзія достойна занять вниманіе мыслителя, представляя въ одной картинѣ безплодіе исключительной жизни и печальныя слѣдствія

отчужденія отъ другихъ народовъ, въ другой— блистательное явленіе мгновенно-воспрянувшаго духа и его развитіе подъ вліяніемъ образованія и европейской цивилизаціи,—скажемъ смѣло, что отъ нашей поэзіи можно и должно ожидать великихъ явленій, потому-что — говоря словами Лермонтова — «Россія вся въ будущемъ.»

---

# ПРИМѢЧАНІЯ.

[1] Въ Лѣтописи XIII вѣка, по случаю измѣны князя Александра Бѣльскаго, приведены слова Гомера: «О лесть! *яко же Омиръ пишетъ*, до обличенья сладка есть, обличена же зла есть, и кто въ ней ходитъ, конецъ золъ пріиметъ.» Исторія Русс. Нар. Томъ III, стр. 340.

[2] У бо́льшей части народовъ первобытная исторія основана на поэтическихъ преданіяхъ. Нибуръ показалъ, что въ исторіи Титъ-Ливія есть отрывки изъ героической поэзіи первыхъ вѣковъ Рима. Niebuhr: Römische Geschichte.

[3] Poezye Alexandra Chodźki. Wstęp. Chants populaires du Nord, par X. Marmier.

[4] Врученіе Благовѣрной и Христолюбивой Государынѣ. Царевнѣ Софьи Алексѣевнѣ привилегіи на Академію. Древ. Россійс. Вивліоѳ. 1773. Ч. 2.

[5] Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ. Ч. V. стр. 67.

[6] Посольства во Флоренцію, Испанію и Францію. Древ. Россійс. Вивліоѳ. Ч. I. IV и V.

[7] У раскольниковъ есть пословица: *образъ божій — въ бородѣ, а подобіе — въ усахъ*. Снегиревъ: Русскіе въ своихъ пословицахъ.

[8] Подъ именемъ Хирона изображонъ, кажется, Меншиковъ, жестокій, корыстолюбивый, тщеславный, гордый въ счастіи, робкій и низкій въ бѣдствіи. Кантемиръ такъ описываетъ этого честолюбца:

Народъ весь, зная того въ государствѣ силу,
Поутру сквозь тѣсны передни насилу
Къ нему кто-кто доступалъ; просьбы и поклоны

Какъ Юпитеръ принималъ, и кивкомъ на оны
Однимъ весь отвѣтъ давалъ....
Вдругъ съ богатствомъ вся его слава улетѣла,
И какъ прежде презиралъ весь свѣтъ подъ собою,
Такъ предъ всѣми ползалъ ужъ низокъ, головею
Землю бья....

Въ лицѣ Ксенона узнаёмъ молодого, дерзкаго, властолюбиваго Ивана Алексѣевича Долгорукаго, который низвергнулъ Меншикова. Вотъ портретъ его:

Ксенонъ,

Коему власть и чинъ высокій достался
Въ двадцать лѣтъ —
Не умѣренъ въ похоти, сластолюбивъ, тщетной
Славы рабъ, и больше тѣмъ невѣжда примѣтный;
Но лолѣ съ младенчества воспитанъ съ псарями,
Вѣкъ ничему не учась, смѣлыми словами
И дерзкимъ лицемъ о всемъ хотѣлъ разсуждати.

Въ образѣ Менандра, который является сперва другомъ Хирона, а потомъ угодникомъ Ксенона, — ясно видѣнъ хитрый, вкрадчивый, коварный Остерманъ. (Сатира V).

[9] Такъ, изображая въ V Сатирѣ всегдашнее недовольство человѣка настоящимъ положеніемъ, Кантемиръ беретъ содержаніе изъ I Сатиры Горація, но представляетъ картину въ чертахъ, взятыхъ изъ русской жизни.

[10] Leiden des jungen Werthers. Brief vom 12 August.

[11] Don Juan. Canto III, strophe CI.

[12] Byron's Works. Ode: «We do not curse thee, Waterloo!»

[13] Вотъ изображеніе Чайльдъ-Гарольда, его разгульной жизни и пресыщенія:

Whilome in Albion's isle there dwelt a youth,
Who ne in virtue's ways did take delight;
But spent his days in riot most uncouth,
And vex'd with mirth the drowsy ear of Night.
Ah, me! in sooth he was a shameless wight,
Sore given to revel and ungodly glee;
Few earthly things found favour in his sight,
Save concubines and carnal companie,
And flaunting wassailers of high and low degree.

His house, his home, his heritage, his lands,
The laughing dames in whom he did delight,
Whose large blue eyes, fair locks, and snowy hands,
Might shake the saintship of an anchorite,
And long had fed his youthful appetite;
His goblets brimm'd with every costly wine,
And all that mote to luxury invite,
Without a sigh he left, to cross the brine,
And traverse Paynim shores, and pass Earth's central line.

Пушкинъ говоритъ о разочарованіи Онѣгина:

Рано чувства въ немъ остыли;
Ему наскучилъ свѣта шумъ;
Красавицы не долго были
Предметъ его привычныхъ думъ;
Измѣны утомить успѣли;
Друзья и дружба надоѣли;
Затѣмъ, что не всегда же могъ
Beef-steaks и страсбургскій пирогъ
Шампанской обливать бутылкой.
Какъ Child-Harold, угрюмый, томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ;
Ни сплетни свѣта, ни бостонъ,
Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замѣчалъ онъ ничего.

[14] Пушкинъ началъ переводить *Конрада Валленрода*, но очень неудачно. Лучшіе переводы его изъ Мицкевича— *Будрысъ и его сыновья* и *Воевода*, взятые изъ піесъ: Trzech Budrysów и Czaty.

[15] Сюда относятся стихотворенія: *Воспоминаніе, Даръ напрасный, даръ случайный, Я пережилъ свои желанья, Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье.* Т. III и IV.

[16] Т. III. Подражанія восточнымъ стихотворцамъ. Піеса IX: «*И путникъ усталый на Бога роптал.*»

Конецъ.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Введеніе. . . . . 5

ДРЕВНЯЯ ПОЭЗІЯ.

Историческіе сказанія Нестора. . . . . 11

Слово о Полку Игоревѣ и Сказаніе о Мамаевомъ Побоищѣ . . . . . 19

Народныя пѣсни и сказки . . . . . 29

Поэзія схоластическая. . . . . 54

НОВАЯ ПОЭЗІЯ.

Ломоносовъ и Кантемиръ. . . . . 67

Державинъ и Фонвизинъ. . . . . 100

Жуковскій, Батюшковъ и Крыловъ . . . . . 125

Пушкинъ и Грибоѣдовъ . . . . . 149

Лермонтовъ и Гоголь . . . . . 194

Заключеніе. . . . . 217